

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000038872241

18+

*Людмила
Улицкая*

О ТЕЛЕ
ДУШИ

*Новые
рассказы*



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНЬ ШУБИНОЙ

Людмила
Улицкая
О ТЕЛЕ
ДУШИ
Новые рассказы



РЕДАКЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЕЛЕНА АСТ
ШУБИНОЙ МОСКВА

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
У48

Художественное оформление АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

В оформлении переплета использованы рисунки АНДРЕЯ КРАСУЛИНА

Фото автора на переплете Като Лейн (*Cato Lein*)

Книга публикуется по соглашению с литературным агентством
ELKOST Intl.

Улицкая, Людмила Евгеньевна.

У48 О теле души : Новые рассказы / Людмила Улицкая. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. — 251, [5] с. — (Улицкая: новые истории).

ISBN 978-5-17-120436-5

“О теле души” — новая книга прозы Людмилы Улицкой.

“Про тело мы знаем гораздо больше, чем про душу. Никто не может нарисовать атлас души. Только пограничное пространство иногда удается уловить. Там, у этой границы, по мере приближения к ней, начинаются такие вибрации, раскрываются такие тонкие детали, о которых почти невозможно и говорить на нашем прекрасном, но ограниченном языке. Рискованное, очень опасное приближение. Это пространство притягивает — и чем дальше живешь, тем сильнее...” (Людмила Улицкая)

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-120436-5

- © Людмила Улицкая, all rights reserved
- © Бондаренко А.А., художественное оформление, 2019
- © ООО “Издательство АСТ”, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДРУЖКИ

Мне не надо других... <i>Вместо предисловия</i>	9
Дракон и Феникс	13
Алиса покупает смерть	43
Иностранка	72
Благословенны те, которые... ..	119

О ТЕЛЕ ДУШИ

Ни один не выучен урок... <i>Вместо предисловия</i>	145
Туши, туши, где их души... ..	147
Aqua allegoria	156
Вдвоем	168
Человек в горном пейзаже	175
Ава	203
Аутопсия	216
Серпантин	237

ПОДРУЖКИ

МНЕ НЕ НАДО ДРУГИХ...

Вместо предисловия

Амазонки, девчонки, старушки-подружки мои,
в сапожках пестроцветных, в галошах, в сандалях,
босые
хороводом поющим, беспечным, трамвайным,
шумливым, порою визгливым
все вращаются, скачут и пляшут кто твист кто
кадриль.
Танцы мира священны,
а пение их таково, что больных исцеляет, детей
усыпляет,
но мертвых вернуть не умеет,
хоть, может, научится вскоре.

Людмила Улицкая

Как прекрасны подруги кудрявые в косах венками
и бритые наголо,
с черепами как шар из слоновой сияющей кости,
в ложах, дредах, в кудрях гиацинтовых нежных,
на легких ногах, на пуантах одна, и вприпрыжку
другая,
та в инвалидной коляске, а за нею подруга
с клюкою трехногою, после инсульта.

Скачут юные, сиськи которых заточены остро,
вислогрудые скачут, и сливы сосков подлетают,
играя,
плоскогрудые девочки скачут, руками свой срам
прикрывая венком из укропа...

Я люблю вас, подруги, за ваше веселье и верность,
за добро и за щедрость,
за то материнское чувство, с которым
вы склоняетесь к малым и слабым, пусть хоть
мышь, хоть лягушка,
не то что дитя человечье.
Танька, Зоя, Лариса, три Наташки, Диана, Ириша,
Катя-Лена, Тамара, Илана, Кристина и Ганна-Мария,

Вместо предисловия

Настя, Катя, Киоко... Маша, Маша, конечно, едва
не забыла, потому что ушла так давно,
что детишки родили детишек, и выросли внуки...
а из тех, что ушли, хоровод обращается выше,
подними только взор
и увидишь веселые пятки, или тапки покойников
хлипкие и саванов их белизну —
Вера, Катя и Оля, Тамара, Гаянэ и Марина, Ирина
и Натали...

Вместе прожили жизнь, на руках вынося все
печали,
помогая друг другу тащить чемоданы, гробы
и картошку,
отрыдав на грудях друг у друга все страсти-
мордасти,
все измены, аборт, предательства, обыски,
стыдную зависть.

Мы друг друга учили прощать, но сначала мужей
уводили,
и блудили, и лгали, и вытворяли такое,
что потом на коленях стояли в слезах и молили,

Людмила Улицкая

и ждали друг от друга прощенья и милости,
сестринской ласки и дружбы.

Мне не надо других, я люблю этих ветреных,
мудрых,
бесстыдных, обольстительных, лживых,
прекрасных, суеверных и верных,
умнейших и дур беспросветных, у которых учиться
могли бы и ангелы в небе...

Мне нужны вы такими — да и я вам под стать.

ДРАКОН И ФЕНИКС

Когда оставалась всего неделя, но никто об этом не мог знать, Зарифа попросила Мусю набрать номер и сразу же продиктовала цифры.

— Какая все же у тебя память исключительная, — в тысячный раз восхитилась Муся. Но Зарифа давно привыкла к этому восхищению и сказала довольно строго: “Соедини меня”.

Хотя у Зарифы был секретарь, Муся выполняла секретарские обязанности лучше любого секретаря. Да и английский у нее был лучше,

чем у секретаря, и уж точно лучше, чем у самой Зарифы. А также русский, французский и даже греческий с недавнего времени, но сейчас это уже не имело значения.

Муся набрала номер с незнакомым кодом, ответил мужчина длинным распевным “Аллоу”, и Муся придвинула трубку прямо к уху Зарифы, чтобы той не приподниматься. Заговорила она по-азербайджански, и голос ее наполнился силой и лаской. Муся немного понимала этот язык, хотя никогда не говорила — она училась в русской школе когда-то мирного армяно-азербайджанского городка, и в той школе русских была половина, а оставшуюся половину составляли армянские и азербайджанские дети самых образованных людей города, из тех, кто понимал, что за хорошим образованием ехать надо в Россию. К концу обучения у ребят был почти такой же хороший русский, как у их учителя Алиева, русофила и пламенного коммуниста. Школа эта была в своем историческом прошлом русская, к тому же первая женская во всем Карабахе. И учителя

были как на подбор старые, вроде музейных экспонатов. Учителя и ученики этой школы обладали одной особенностью: в трудах шлифовки языка Пушкина и Толстого армяно-азербайджанские разногласия как-то смягчались, и те и другие были равны в своей непринадлежности к великой русской культуре... Зарифа закончила эту же школу на восемь лет раньше, чем Муся, но познакомились они много лет спустя в Москве.

Их родной город в Карабахе с давних пор был мягко, но убедительно разделен на верхний и нижний, армянский и азербайджанский, все жили немного по-деревенски — двором, улицей. Изредка случались смешанные браки, и каждый раз это был особый случай, такое событие, которое поднимало высокую волну среди родственников и соседей. Чего волновались? О-о, это особый разговор... Браки с русскими почему-то не вызывали такого брожения крови.

Муся прислушивалась к разговору. Кажется, Зарифа звала брата приехать, прозвучало название ближайшего аэропорта. И еще Зари-

фа о чем-то просила брата, но Муся не смогла уловить, в чем просьба состоит, уловила слово “дракон” и сама себе не поверила... При чем дракон? В конце разговора Зарифа сказала по-русски: “Приезжай, Саид. И поторопись...”

Муся забрала телефон. Плакать ей Зарифа не велела. Обе молчали. Муся положила на маленькую столешницу больничной тумбочки фарфоровой белизны руки и беззвучно закапала слезами.

Почти два года, как напала на Зарифу эта проклятая болезнь. Сначала лечили в Мюнхене, там оперировали, потом переместились в Израиль, там проходили химию и облучение, а теперь перебрались на Кипр, где давно уже Зарифа купила дом для летнего счастья... Все было бессловесно решено каждой из них по-своему: Зарифа сражалась до последнего, а Муся, потеряв веру во врачей, спуталась с двумя армянскими колдуньями, немолодыми сестрами, целиком, от ушей и зубов до щиколоток, оправленными в золото, и по ночам, когда Зарифа отправляла ее домой поспать, Муся

тайно беседовала с ними по скайпу. Задачу она поставила нетривиальную — не о лечении Зарифы шла речь, а о сложном процессе замены одной души на другую. Прислали ей сестры какое-то особое масло, ноги мазать. Старшая из сестер, Марго, сказала, что такой обмен возможен — была у них такая мамаша, которая ушла вместо сына. Их колдовство сработало таким хитрым образом: мальчишка выжил, вылечил его в Москве академик Воробьев от смертельного заболевания крови, а мамаша попала под трамвай, сразу насмерть ее зарезало, как только мальчика вылечили...

Муся закончила пединститут в Москве, она была филологически вполне образованна, начитанна, и память услужливо подкинула ей Берлиоза: колдовство, трамвай, масло.

— Очень хороший мальчик был, в армию пошел, а сейчас в тюрьме сидит, — сказала одна сестра, вторая ее одернула: сплетни не разноси... — Бывают чудеса, бывают!

Три месяца дела шли все хуже и хуже, и чуда все не происходило, Муся составила

для себя план — если колдуньи не помогут совершить этот обмен и Зарифа уйдет, она пойдет за ней следом. Трамваев, правда, в кипрском городке не было, но было море, которое плескалось прямо под окнами, предлагая свои разнообразные услуги, да и старинную петлю никто не отменял. Почему всегдашняя Зарифина удача — о, как ей везло всю жизнь! — отвернулась от нее и хотела взыскать с нее сразу все, что было щедро дано наперед, обе они об этом про себя думали. Но Зарифа в уме проводила аудит, стараясь вычислить, где допустила ошибку, Муся же впутывала в мысли какие-то древние мотивы, там у нее и огонь, и кровь, и вода, соединялись они в особых пропорциях, и ошибки не было, но была удручающая безысходность.

— Не хлюпай. Лучше покушай, смотри, Катя долму принесла...

Катя была вывезенная из Москвы лучшая на свете домработница. Зарифа любила все самое лучшее, знала толк в часах, брильянтах, авторучках, машинах. И в людях.

Тут Муся расплакалась окончательно. Зарифа не ела уже неделю, крошки во рту не имела, только пила немного, а в пластиковый мешок стекала уже не розовая жидкость, а жестоко-красная. Опять у Муси зашевелились смутно-древние мысли: кровь-душа-жизнь выливались, а вливали через капельницу физраствор, воду какую-то мутную... Ее бы воля, свою бы кровь всю отдала.

— Поешь, а мне еще один звонок сделать надо... — приказала Зарифа. — Дело есть...

— Какое дело? — встревожилась Муся.

Это ее дурковато-очаровательное качество — полное непонимание деловой стороны жизни — всегда Зарифе очень нравилось. И она погладила подругу по подвернувшейся шелковой ноге... Ни одного волоска не было на теле Муси, с юных лет бабушка научила ее пемзой натираться до ледяной гладкости.

У Зарифы после долгого упадка случился неожиданный подъем энергии. Снова пальцем показала на телефон:

— Женьке Райхман позвони, скажи, чтобы приехала прощаться...

— Ты что... что такое говоришь... какое прощаться...

— Да говори ей что хочешь, пусть приезжает... Катя сегодня ночью посидит, ты три ночи не спала, отдохни. Приходи в обед, а часам к одиннадцати Катю ко мне пришли...

Они поженились двенадцать лет тому назад, в Амстердаме. Зарифа долго вынашивала этот план и хорошо подготовилась: взяла вид на жительство в Нидерландах, открыла там филиал своей фирмы, купила, наконец, уютный дом в Амстердаме, на берегу реки Амстел, в двух шагах от театра *De Kleine Komedie*.

После всех этих предварительных движений, в которых матримониальные планы хорошо совмещались с деловыми, сделала Мусе предложение. Они уже пять лет жили вместе, но тут Муся испугалась. Во-первых, у нее уже был один неудачный брак, от которого она сбежала, как бегут из тюрьмы, и долго вычищала из памяти этого мужчину с колючей щетиной и садистическими

наклонностями. И поклялась тогда больше с мужчинами дела не иметь и замуж никогда не выходить, но не знала, куда эта клятва ее заведет. А завела эта клятва в объятия Зарифы. Во-вторых, которое и было на самом деле “во-первых”, было страшно на весь мир провозгласить, что она... При слове “лесбиянка” Муся до сих пор замирала, как застигнутая за воровством девочка. В самой глубокой глубине робкой души притаился ужас, она знала, что это плохо, — мама чуть с ума не сошла, когда узнала про Зарифу, запретила родне рассказывать... А теперь Зарифа сделала ей предложение! Ответить ей отказом? Невозможно. Все, что делала Зарифа, было превосходно: она была удачливым юристом, лучшим переговорщиком, прекрасным коммерсантом, человеком одновременно рискованным и осторожно-предусмотрительным. Муся гордилась Зарифой: она могла все, абсолютно все — прыгала с парашютом, участвовала в ралли, в молодые годы была сильной преферансисткой, а последнее время поигрывала в казино — и никогда не проигрывала!..

Муся пыталась остановить Зарифу в ее мужественных безумствах, но ее робкие уговоры всегда заканчивались одинаково: неженской решительной нежностью и энергичными ласками. Зарифу безмерно трогало не то материнское, не то детское боязливое беспокойство Муси, ее постоянная суеверная тревога о ней.

Свидетельство о браке, выданное мэрией самого терпимого города мира, оправленное в рамку белого рытого бархата, висело теперь на стене в зале их кипрского дома. Когда это свидетельство впервые показали Женьке Райхман, она, кривляясь, поцеловала бумажку и сказала: “Были вы, девочки, бляди блядьми, а теперь порядочные супруги!” — и все захохотали.

Женька была свободней всех на свете. И от какой бы то ни было сексуальной ориентации тоже вроде свободна. Одну только науку она избрала в партнеры, с ней и ковырялась всю жизнь, исследуя то дрожжи, то каких-то червей, а последние годы занималась геномом человека в лаборатории в Цюрихе. Какой-то мировой проект, над которым посмеивалась Зарифа

и обещала Женьке бесплатную юридическую помощь, когда ее отдадут под суд за разглашение Божественной Тайны.

Свадебная фотография и теперь висела в их кипрском доме: плечистая Зарифа в белом пиджаке с круглой, драгоценно сверкающей блямбой на вороте держит свою короткопалую руку на плече застенчиво улыбающейся Муси, и стоят они у высокого окна ресторана “*Ciel Bleu*” на двадцать третьем этаже гостиницы “*Okura*”. Зарифа сияет, Муся смущена. Слово “муж” она не могла произнести. И никому не смогла бы объяснить, кем на самом деле приходится ей Зарифа: защитником, покровителем, подругой, возлюбленной. Или возлюбленным? Конечно, она понимала, что мужем может быть только мужчина... Но равных Зарифе людей она не встречала ни среди мужчин, ни среди женщин, из чувства восхищения и благодарности возникла ее любовь, та восхищенная любовь, которая случается у молодых студенток к старым профессорам, у девочек к учительницам, у мальчиков к любимым футболистам.

Они были первой такой супружеской парой из России, зарегистрировавшей брак в Амстердаме. В Армении и в Азербайджане про такие экзотические штуки ни сном ни духом не ведали...

А свадьба, свадьба! Этого не забыть! Уж как просила Муся ничего не устраивать, никого не звать на это торжество прежде незаконной, а год тому назад легализованной нидерландским законом любви, но Зарифа пригласила на свадьбу азербайджанских родственников, купила им билеты и заказала шесть номеров в гостинице "Okura". Муся, со своей армянской стороны, пригласила лишь одного своего племянника Ашота, который третий год учился в бизнес-школе в Лондоне на деньги Зарифы. Остальных — родителей и сестру — решила не травмировать. У отца случались время от времени эпилептические припадки, не дай бог прямо на свадьбе от переживаний и грохнется...

Просчет и провал Зарифы был полнейший: приглашенные азербайджанские родственники под предводительством старшего брата Саида приехали почти в полном составе, исключая карабахскую тетю, сестру покойного отца-ковродела, которая не могла преодолеть страха перед воздушным путешествием. Они прилетели накануне свадьбы и вечером того же дня после знакомства с предполагающимся женихом, который оказался невестой, дружно отправились в аэропорт, не попрощавшись и отказавшись тем самым принимать участие в предстоящем святотатстве.

— Ты была права, Муся, — фыркнула Зарифа, когда секретарь сообщил ей, что родственники в полном составе отбыли в аэропорт Схипхол, — я про них лучше думала... Саид меня в детстве обожал, пятнадцать лет разницы, он мне как отец был. Лучше отца... Черт с ними!

Пожала плечами, и пошла в близлежащий бар с самой что ни на есть гейской репутацией, и пригласила всех присутствующих на свою

свадьбу. Стол на сорок человек заполнился несколькими амстердамскими знакомыми и совсем незнакомыми ребятами из бара, геями, трансвеститами и существами неопределенного пола, скорее мужского, чем женского. Они были видом прекрасны, восхитительно одеты в почти театральные костюмы с пушистыми перьями и бряцающими железками... Их фотографии тоже присутствовали, но не на стене кипрского дома, а в альбоме, который показывали всем интересующимся совместной биографией Муси и Зарифы.

За время Зарифиной болезни Муся сильно похудела и еще более, чем всегда, стала похожа на длиннорлый кувшин с шарообразным низом. Есть совсем не могла. В тот вечер заглянула в холодильник, еды там полно, но на Мусю пахло оттуда только несъедобным холодом. Приняла душ и легла спать. Провалилась сразу же, без всяких мыслей и предчувствий, все они умерли в ней, оставались только ежедневные

распоряжения Зарифы, которые она старательно исполняла.

Проснулась от телефонного звонка. Сердце заколотилось — ничего хорошего такие ранние звонки не предвещали. Схватила трубку. Там: “Аллоу!” Саид, сразу узнала. Сказал, что уже прилетел в Москву и в 8:20 вылетает из Москвы, через три часа будет в Ларнаке. Чтобы встречали... Да, да, конечно, встретим...

Позвонила Кате в больницу. Катя сказала, что Зарифу забрали в операционную катетер менять, а секретарь по Зарифиному поручению должен с утра ехать в банк.

“Чтоделатьчтоделатьчтоделать...” — шептала Муся высохшими губами. Она давно отвыкла принимать решения, даже в выборе платья. Теперь же задача перед ней встала чудовищная, затмившая все ее горести: надо встречать Саида, который ее ненавидит, надо ехать в аэропорт самой, и что ему сказать, и что скажет он... и что надеть... Зарифа в операционной, спросить не у кого... Он уже летит сюда... в воздухе уже, приближается... эти азербайджанские мужчины... они даже хуже

армянских... Саида она видела один раз в жизни, когда он прилетел в Амстердам, перед свадьбой, посмотрел на нее свирепым глазом, встал и увел за собой всю Зарифину родню... ужасно...

— Скажи Зарифе, что я уже в машине. Еду встречать Саида...

Муся узнала его сразу — он был седой, широкий, малого роста, но все равно красивый. Кончик носа у него немного загибался вниз, и подбородок, как у Зарифы, загибался немного вверх, и такая же ямка была посередине. В черном костюме и сандалиях он выглядел так нелепо, что греки на него оглядывались. К тому же он был увешан какими-то пакетами и катил за собой тропического цвета сумку на колесиках, из которой торчал огромный сверток. Муся, увидев его, едва не заплакала от его сходства с Зарифой. Правда, по виду он ей в отцы годился.

Муся подошла к нему.

— Здравствуйте, Саид, я за вами приехала. Зарифа меня послала.

— А чего сама не приехала?

Муся улыбнулась своей кроткой улыбкой.

— Она плохо себя чувствует. Она в больнице. Мы заедем к ней сначала, а уж потом я вас размещу, как вам будет удобно — дома или в гостинице... Вы постойте здесь, я машину на парковке оставила... Подъеду за вами через пять минут.

BMW машина большая, а багажник не особенно велик. Засунули его пакеты. Он сложил сумку-тележку. Огромный сверток, обшитый грязной парусиной, затолкал в багажник. Ехали довольно долго молча, потом Саид спросил:

— Какая болезнь?

— Рак, — коротко ответила Муся.

— Плохо. Все от рака умирают. Отец от рака, отец отца от рака. А его отец умер от живота. Наверное, тоже от рака, но не знали.

Через два часа Саид вошел в палату, куда только что привезли Зарифу из операционной. Природная смуглота придавала ореховый оттенок ее пожелтевшему лицу. Она открыла глаза, увидела брата. В глазах его застыл ужас.

— А, ты приехал... уйдите все. Мне надо с ним поговорить...

Муся, Катя и медсестра вышли одна за другой, затворили дверь. Муся стояла под дверью, прислушивалась, о чем там говорят, но ничего не услышала — тихо разговаривали.

Потом Муся отвезла окаменевшего Саида в гостиницу. Домой к ним ехать он не захотел, и она с облегчением вздохнула.

На следующий день к вечеру в ларнакском аэропорту приземлилась Женя Райхман. Взяла напрокат машину и прикатила к ним домой. Она здесь не один раз бывала. Домработница Катя ее встретила, позвонила Мусе в больницу, та спросила у Зарифы, не приехать ли Жене сразу в больницу. Зарифа велела немедленно приезжать. Женя и поехала.

И снова Зарифа велела всем выйти. Когда остались одни, она сказала Жене:

— Хорошо, что приехала, у меня к тебе три важных вопроса.

Женя, которая с первой минуты оценила положение дел, не нашлась, как отшутиться

в своей всегдашней дурковатой манере. Села рядом с Зарифой и задала ей вопрос неуместный и даже глупый: “Как ты себя чувствуешь?”

— Ты что, сама не видишь? Подыхаю я. Пиздец. Вот в связи с этим у меня к тебе вопросы есть. Ты у нас самая умная подруга...

Женя ужаснулась — не тому, что Зарифа умирает, и не тому, что она это осознает. Они жили в одном доме, в одной квартире в Марьиной Роще, когда Зарифа снимала комнату у Жениной тетки, ее первое московское жилье, и очень хорошо друг друга знали... “О деньгах, об имуществе речь пойдет”, — испугалась Женя. Какая-нибудь сложная дележка, схема, интрига, к которым так талантлива была Зарифа и которые вызывали у Жени стойкое отвращение.

“Ни за что, — решила про себя Женя. — Скажу, пусть пишет завещание, вот что скажу...” — и нервно ждала вопроса.

Зарифа слегка приподняла голову:

— Женька, скажи, как ты считаешь, что такое интеллигенция?

Женя вдохнула кондиционированный прохладный воздух и выдохнула. Сошла с ума? Или я что-то не поняла?

— Интеллигенция? — переспросила Женя, не поверив ушам, но с некоторым облегчением.

Зарифа закрыла глаза, и стало заметно, как глубоко они провалились. Смерть уже наложила свою косметику черными мазками по векам, потемнели и ссохлись выпуклые губы, провалились виски... видно было, что она устала, очень устала. Когда она закрыла глаза и замолчала, казалось, что она умерла.

— Знаешь, я не уверена, что интеллигенция вообще еще существует. Но если она была, я думаю, что точнее всего ее можно определить как слой образованных людей, деятельность которых мотивирована общим благом, а не корыстью...

Тень недовольства прошла по лицу Зарифы.

— Нет, я так не думаю.

Потом открыла глаза и спросила так, как учителя спрашивают на экзаменах:

— Скажи, чем отличаются армяне от азербайджанцев? Ну, не так, как во дворе об этом говорят. По науке. Ты же генетик.

Тут Женя, неверующая, глухая, как стена, ко всяким религиозным построениям, впервые в жизни взмолилась: “Помоги мне, Господи! Помоги, я не могу...”

— Ты это серьезно?

— Да. Серьезно. Я давно хотела тебя спросить, но все времени не было...

— Тогда слушай. Лекцию небольшую тебе прочитаю... Сейчас считается доказанным, что когнитивные и ментальные характеристики генетически запрограммированы. Но личные особенности лежат в довольно широком пределе и определяются вариантами генов. И частота встречаемости в популяциях определенных вариантов генов...

— Попроще, — попросила Зарифа очень тихо.

— Я постараюсь попроще. Наиболее часто встречающиеся поведенческие аллели, то есть варианты одного и того же гена, в популяции

определяют то, что называется национальным характером.

— Еще проще, пожалуйста. Мне важно это понять...

Женя помолчала и снова взмолилась к небесам со всей силой загнанного в тупик человека.

— Ну, вот пример: сравнительно недавно обнаружили, что существуют гены, определяющие воинственность и миролюбие. Считается, что самый миролюбивый народ — бушмены племени канг-сан в Южной Африке, а самый воинственный — индейцы Южной Америки из племени яномамо. Оказалось, что в одном гене у индейцев, в отличие от бушменов, есть мутация 7R, именно она и делает их такими воинственными и агрессивными...

— Женька, ты мне про армян и азербайджанцев расскажи... про индейцев не хочу.

Поток прохладного воздуха от кондиционера шел прямо Жене в шею, но она почувствовала, что ее обдало жаром.

— Понимаешь, кроме чисто генетических факторов, есть еще и этнографические, исто-

рические, но именно наиболее часто встречающиеся в популяции поведенческие аллели характеризуют то, что принято называть национальным характером, или этнопсихологическими особенностями...

— Тьфу ты, — выругалась Зарифа, и голос ее прозвучал вполне энергично, — ты объясни, почему нельзя усадить за один стол армян и азербайджанцев?

— Это вопрос не генетики, это вопрос социокультурный, я думаю...

— Опять ты не можешь дать мне толковый ответ. Садись, двойка. Тогда скажи мне по-честному: я — хороший человек?

Женя на минуту задумалась: она Зарифу любила, но знала, что Зарифа человек разнообразный, иногда хороший, даже очень хороший, а иногда... ой-ей-ей...

Зарифа лежала с закрытыми глазами, широкая, плоская, и ждала ответа.

— Ты очень хороший человек... — сказала тихо Женя и подумала: “Как много на свете людей, которые с этим не согласились бы...”

— Ладно, иди, — открыла глаза, с усилием поймала взглядом Женьку. — Спасибо, что приехала, — сказала недовольным и невнятным голосом.

Женя вышла в коридор, махнула рукой, и в палату гуськом, на цыпочках вошли Муся, Катя и нанятая медсестра. Медсестра взглянула на монитор, который висел на стене, потрогала Зарифу за руку. Рука лежала мягко и безответно. Зарифа полностью отключилась.

Женя плакала в коридоре.

Той же ночью Зарифа умерла. Муся сидела возле нее до последней минуты. Там же был врач, который смотрел больше на монитор, чем на уходящую больную. Редко подрагивающая линия на мониторе сошла на нет, и Зарифы не стало.

Муся не плакала. Она до утра просидела возле Зарифы и говорила ей что-то, что не успела сказать за семнадцать лет их совместной жизни. Утром Мусю отвезли домой. Только вошли в дом, позвонила армянская колдунья, которая должна была обеспечить замену. Колду-

нья узнала о смерти Зарифы по своим сверхъестественным каналам связи.

— Слушай меня, Анаид, — сказала колдунья Маргарита, единственная, кто называл Мусю старым именем. — Не разрешили нам того, о чем ты просила. Там протокол не меняют. Позвони через неделю, я тебе одну важную вещь скажу. Не сейчас. Велели хоронить ее по-христиански...

— Марго, как это — по-христиански? Она же некрещеная. Ислам у них...

— Не знаю. Мне так было сказано. Я только передаю. Панихиду чтобы отслужили...

Что Мусе делать дальше, на то была инструкция, лежащая в конверте, на котором было написано крупным Зарифиным почерком: “Вскрыть после моей смерти”. Муся вскрыла, прочитала инструкцию и принялась выполнять. Вынула из шкафа вешалку, на которую Зарифа перед последним уходом в больницу повесила костюм для похорон. Его пошили в Милане во время ее последней поездки в Италию у модной портнихи. Он был белый, с густой

золотой вышивкой по вороту и рукавам, и золотой шарф к нему, и туфли золотые, без задников. Все было новенькое, ненадеванное, как и полагается. В отдельном мешочке, висящем на той же вешалке, лежало белое льняное белье.

Дальше написано было про какой-то ковер, который, если брат его привезет, надо положить на гроб при прощании. И что проводить прощание надо у них дома, в зале. И в какой ресторан пойти после похорон. И что надо кремировать, а когда получат урну, то пепел развеять над морем. И еще про завещание, в котором все описано и расписано, и где оно лежит.

Смущало Мусю только колдуньино распоряжение про панихиду. Спросить ей было теперь некого. Задала этот вопрос про себя Зарифе, но ответа никакого не получила.

“Не хочет”, — поняла Муся.

На другое утро на рассвете привезли домой гроб.

Муся, третью ночь не спавшая, села в кресло в зале, возле закрытого гроба, и отключилась.

Прощание было назначено на десять утра. Женя с утра расставляла цветы по дому, ходила как тень...

В восемь часов прилетел из Лондона Ашотик, Мусин племянник. Он был хрупкий восточный человек с большими математическими способностями и малой пробивной силой — Зарифа тянула его с малых лет, и теперь из него получился слегка медлительный, но надежный топ-менеджер. Муся обняла племянника:

— Спасибо, Ашотик, что приехал.

— А как иначе? Я всем ей обязан.

“Приличный наш мальчик”, — подумала Муся. Плакать она еще не могла.

В девять приехал из гостиницы Саид с огромным свертком. Вспороти обшивку и разложили на полу карабахский ковер, который соткал их то ли прадед, то ли отец прадеда, — все мужчины в семье в старое время были ковроделами в Шуше. Взяв довольно тяжелый ковер с четырех концов, подняли его и бережно покрыли им гроб. Тут Муся и увидела того Драко-

на, о котором говорила Зарифа с Саидом по телефону.

Он был не один, этот Дракон, он сошелся в смертельной и нескончаемой схватке с Фениксом. На красно-синем окраинном поле углами и резкими поворотами сражались орнаменты, а в центре угадывался тощий Дракон, завязанный в кольцо со священной птицей. То ли Феникс, то ли Симуург. Это кольцо было как будто замершей навеки памятью о борьбе, в которой никто не может одержать победы. Острые зубцы когтей и зубов запечатлены были руками ковродела навечно, пока не выцветут краски, пока не истлеет шерсть, пока время не сотрет в прах память о труде художника, о противостоянии сил природы и мифа, о вражде слабых людей, живущей гораздо глубже, чем в этой рукотворной картине, в сознании двух соседствующих народов, из которых один чудовищный дракон, другой священная птица, или наоборот, один священный дракон, другой чудовищная птица... И кто из них воин, кто колдун, кто зло, кто добро, различить нельзя, потому что они

скованы в одно неподвижное и нерасторжимое кольцо...

Приезжали люди. Женя провожала их в залу: Зарифины знакомые, соседи, даже два лондонских клиента...

Муся увидела, увидела этого дракона, кинулась к гробу, распластав руки по ковру, и возгласила: “А-а-а...”

Этот длинный и звонкий звук открыл наконец поток, который держался в ней необъяснимой запрудой и теперь вылился вместе с горячими слезами. Пела она или плакала... никто не понимал армянских слов, которые она проплакивала, пропевала... никто меня не утешит, никто меня не пожалеет, жизнь моя ушла от меня...

В ней была та же древняя сила, что нарисована, соткана была давно умершим азербайджанским стариком, и они слились воедино — и заплакали все, кто был в зале.

Солнце било в окна, шум прибой поднимался от моря, и происходило прощание двух любящих душ, и стоявший у гроба Саид, приехав-

ший проститься с любимой и проклятой им сестрой, тоже плакал. Кто там муж, кто там жена, что за дело...

Замер последний вопль на высокой звонкой ноте. Саид подошел к Мусе, обнял ее за плечи: “Не плачь, девочка...”

Дракон и Феникс замерли в своем вечном кольце.

Через неделю Муся получила урну с прахом и развеяла пепел над морем. Потом собрала маленький чемодан — Зарифин, деловой, с которым она летала по своим юридическим делам в столицы Европы, — и улетела в Шушу, к колдунье Марго, чтобы узнать ту важную вещь, о которой колдунья ей говорила. Она так привыкла, чтобы ею руководили...

АЛИСА ПОКУПАЕТ СМЕРТЬ

Тане Рахмановой

Когда жизнь была доведена до совершенства, наступила старость. Последний дорогостоящий штрих — небольшая ванна, установленная после долгих размышлений и поисков. Некоторые рекомендовали душевую кабину, но Алиса безусловно предпочла ванну с дверкой: чего хорошего, когда сверху льет на голову дождь? Другое дело — лежать в теплой воде с резиновой подушечкой под головой и покатывать размяг-

ченными ступнями два приятно-колючих пластмассовых мячика...

Алиса принадлежала к редкой породе людей, которые с полной определенностью знают, чего они хотят, а чего не хотят ни в коем случае.

Мешаная кровь, доставшаяся от матери, полуприбалтийская, полупольская, с раннего возраста охлаждала все страстные Алисины порывы, а страх подпасть под чужую власть был сильнее прочих страхов, свойственных женщинам: страха одиночества, или бездетности, или бедности. Мать же ее, Марта, вышедшая замуж за боевого офицера еще до войны и родившая от этого брака Алису, похоронила своего генерала, и всю оставшуюся еще молодую жизнь страстно влюблялась и ярко страдала, вплоть до психбольниц. Она всегда была готова принести к ногам очередного любовника все, чем располагала, включая генеральскую квартиру, оставшуюся после мужа...

После разрыва с последним возлюбленным Марта покончила с собой неприлично-литературным способом: предварительно сходя в па-

рикмахерскую и сделав маникюр, бросилась под поезд. Это безумное поведение матери полностью парализовало в Алисе способность к пустому и бесплодному самопожертвованию.

На похороны Марты пришло некоторое количество бывших возлюбленных и последний, бросивший ее и тем нанесший смертельный удар. Они выгрузили гору цветов на закрытый гроб, и двадцатилетняя Алиса со своей недопроявившейся блеклой прелестью, презирая и стыдясь материнской чрезмерности чувств, поклялась, что никогда не станет, как мать, игрушкой этих животных. Она и не стала. Не тягостное монашество, а редкие незначительные романы, уравнивающие ее со сверстницами в жизненном опыте.

Работала инженером-чертежником, любовалась собственной превосходной работой, знала, что лучше нее никто в бюро не умеет провести линию. В конце двадцатого века появились компьютеры, и всем чертежникам, даже самым заслуженным, пришлось отложить карандаши и начать мучительно осваивать программу, ко-

торая точно выполняла приказы: “Поднять перо, опустить перо, сместиться в точку...” — но тут как раз Алиса и сместилась на пенсию.

Больше десяти лет длился самый счастливый кусок ее жизни: пенсия была небольшая, но к ней Алиса нашла чудесный приработок — три раза в неделю гуляла с детьми в скверике с десяти до обеда. А потом была восхитительно свободна. Ходила иногда в театры, чаще в концерты, в консерваторию, обзавелась там интересными знакомыми и жила в свое удовольствие, пока однажды совершенно ни с того ни с сего в собственной квартире, возле собственной тахты не потеряла сознания. Пролежав неопределенное время, пришла в себя и изумилась странному ракурсу: увидела разбитую чашку в тонкой лужице, ножки упавшего стула, ворсистый красно-синий ковер возле самого лица. Легко встала. Болел ушибленный локоть. Подумала и вызвала врача. Ей измерили давление и прописали таблетки. И вроде все было как прежде. Но даром не прошло: Алиса с этого дня задумалась о смерти.

Никаких приличных родственников у нее не было — польско-литовские давно растворились из-за нелюбви к советской власти, которую представлял покойный генерал. Генеральская родня, со своей стороны, не жаловала ни Марту, ни ее дочь Алису по причинам, о которых все давно забыли...

Алисе было шестьдесят четыре года. Здоровье, если не считать обморока, неожиданного напоминания о конечности жизни, было хорошее. Однако возник вопрос: а если заболит? Сляжет? На кого рассчитывать?

Алиса потеряла сон. Не спала несколько ночей, а потом пришло гениальное решение. Очень простое: когда накинута болезнь, станет невмоготу, можно отравиться. Приготовить заранее хороший яд, лучше бы такое снотворное, чтобы выпить и не проснуться. Без всяких глупых демонстраций, как мать в свое время устроила. Тоже мне, Анна Каренина. Просто взять — и не проснуться. И таким образом как бы избежать самой неприятности смерти...

Когда эта мысль пришла Алисе в голову, она подскочила с постели и полезла в стол — где-то была белая фарфоровая коробочка для пудры или для чего-то другого косметического — от матери осталась. Вот сюда можно положить порошки, держать около кровати и, когда настанет время, — принять...

Нет, еще не завтра. Но пора подумать. Для этого первым делом надо найти надежного врача, чтобы выписал эти порошки в нужном количестве. Задача не простая, но выполнимая...

Алиса после обморока жила как обычно — гуляла с Арсюшей и Галочкой. Милые детки из соседнего подъезда, и мать воспитанная, не хабалка, учительница музыки, по утрам уроки давала, а во второй половине дня занималась со своими детьми.

Вечерами Алиса по-прежнему развлекалась, но про хорошего врача не забывала. Разговорилась с одной своей театральной спутницей о том о сем, оказалось, у нее брат — врач. Еврей, между прочим. Вот-вот. Может, и не зря

про них всякое говорили — вредители, отравители... Словом, Алиса попросила свою знакомую, чтобы та свела ее с братом для медицинской консультации.

Через неделю пришел брат — Александр Ефимович. Грустный худой человек с вопросительным выражением лица. Он так понял, что его пригласили на частный прием, но Алиса усадила его за стол, подала чай. Он слегка недоумевал, но пациентка была воспитанная, внешне очень привлекательная. Такие женщины никогда прежде не попадали в его поле зрения. Вообще говоря, никакие давно уже не попадали. Пациентов он рассматривал исключительно с медицинской точки зрения. Он три года как овдовел, тосковал в одиночестве и намеки со стороны родственников о вреде одиночества слышать не хотел.

Стол был накрыт благородно, тонкие фарфоровые чашки стояли на серой льняной скатерти, конфеты были маленькие, заграничные, а не увесистые “Мишки в сосновом бору”. Сама Алиса Федоровна была, как чашки и конфеты,

изящная, с тонким неулыбчивым ртом, со светлыми, гладко подобранными волосами. Налила чаю и рассказала о своей проблеме прямо: мне нужно сильное снотворное, причем в таком количестве, чтобы, приняв, уже не проснуться.

Немного подумав, отхлебнув чаю, Александр Ефимович спросил:

— У вас какое-то онкологическое заболевание?

— Нет. Я совершенно здорова. Дело в том, что я хочу уйти здоровой. В тот момент, когда я приму это решение. У меня нет родственников, которые бы за мной ухаживали, а валяться по больницам, страдать и мочиться под себя нет ни малейшего желания. Снотворное мне нужно, чтобы я могла его принять, когда это решение созреет. Я просто хочу купить себе легкую смерть. Вы видите в этом что-то дурное?

— Сколько вам лет? — задал доктор после длинной паузы вполне медицинский вопрос.

— Шестьдесят четыре.

— Вы прекрасно выглядите. Больше пятидесяти никто вам не даст, — заметил он.

— Я знаю. Но я пригласила вас не для комплиментов. Скажите мне определенно, сможете ли вы выписать мне нужное лекарство в достаточном количестве...

Доктор снял очки, положил их перед собой и потер глаза.

— Я должен подумать. В принципе, вы же понимаете, барбитураты выписываются по специальным рецептам... это подсудное дело.

— И в данном случае хорошо оплачиваемое, — заметила сухо Алиса Федоровна.

— Я врач, и для меня это в первую очередь моральный вопрос. Признаюсь, впервые в жизни я сталкиваюсь с подобным предложением.

Чай допили. Расстались на том, что доктор подумает и ей позвонит, чтобы сообщить о своем решении.

Теперь не спал Александр Ефимович. Она не выходила из головы, это худая белесая женщина, столь не похожая на всех, кого он встречал в жизни. И менее всего на его жену

Раю, веселую, с выпадающими из прически гофрированными прядями, с вечно потертыми на большой груди кофтами, шумную, даже крикливую... и как Рая мучительно уходила, съедаемая саркомой, с приступами чудовищной боли, не снимаемой никакими морфинами.

Целую неделю он не мог принять решение, каждый день собирался позвонить этой удивительной Алисе, но не мог разрешить ту моральную задачку, которую она ему задала. Прямая, честная, достойнейшая женщина! Ведь ничего не стоило пожаловаться на бессонницу, попросить снотворное, и я бы выписал, а она собрала бы десять—двадцать доз — кто же может это проверить? — и выпила бы, чтобы уснуть вечным сном.

Встретились они незапланированно, в консерватории, на концерте Плетнева, в антракте, после сюиты из “Спящей красавицы” Чайковского и перед сонатой Шопена. Алиса его не сразу узнала, а он ее — в первую же секунду.

Она стояла в буфете со стаканом воды, оглядывалась в поисках свободного стула. Алек-

сандр Ефимович издали поклонился. Встал, кивнул приглашающе, и она села на освободившийся стул...

После концерта он пошел ее провожать. Пока они слушали музыку, прошел ливень. Раскидистые лужи покрывали всю улицу, и бронзовый Чайковский сидел в бронзовом кресле в небольшом озерце дождевой воды. Доктор взял Алису Федоровну под руку. Рука ее была легкая и твердая — такая, какая была у его жены Раи, когда он впервые провожал ее с выпускного вечера. И он шел, дивясь этому давно забытому осязательному чувству.

“Вот мужчина, который от меня ничего не хочет, — подумала Алиса, — это я от него жду одолжения...”

Они поговорили о Плетневе, он вспомнил о Юдиной, заметив, что со времени ее смерти именно Плетнев представляет собой тот тип музыканта, который берет на себя право нового, личного прочтения музыкальной классики. Алиса Федоровна поняла, что разговаривает с человеком, воспринимающим музыку глубо-

ко, как профессионал, а не как она сама, поверхностный слушатель.

Он уверенно довел ее до самого дома, без труда найдя в неосвещенном дворе укрытый в глубине двухэтажный флигель, куда он приходил неделю тому назад. У него было замечательное чувство ориентации в пространстве, и в лесу, и в городе: место, однажды им увиденное, всегда легко находил. Остановились у подъезда.

Они уже прощались, а она решительно не задавала того вопроса, из-за которого она вызвала его к себе.

Возникла неловкая пауза, которую он прервал все с тем же вопросительным выражением, которое было ему свойственно:

— Алиса Федоровна, я готов ответить на вашу просьбу согласием, но я хотел бы к этому вопросу вернуться позже, когда... — он явно подбирал правильные слова, — когда созреют обстоятельства. А до той поры я беру на себя заботу о вашем здоровье.

Она кивнула — никто никогда не брал на себя заботы о ней, да она бы и не позволила! Но

слышать это было приятно. Она протянула ему свою легкую твердую руку и взялась за ручку парадной двери. В парадном было темно.

— Разрешите... — Он шагнул за ней в сырую темноту подъезда.

Она нашаривала ногой в темноте первую ступеньку, чуть оступилась. Он подхватил ее сзади за спину.

Так начался их роман — провал в юность от случайного прикосновения, первый поцелуй в темноте подъезда, ожог неожиданности, вспыхнувшее в душе Алисы чувство полного доверия к мужчине...

И Алиса доверила ему больше, чем доверяют женщины в молодости, — не жизнь, а смерть.

Начался самый счастливый год в жизни Алисы. Александр Ефимович не разрушал того мягкого кокона одиночества, который она сплела и в котором чувствовала себя защищенной. Удивительным образом он своим присутствием даже укреплял эту защищенность. Как будто сверху накрыл колпаком. Но что особенно изумляло Алису, так это способность Алек-

сандра Ефимовича угадывать ее прихотливые вкусы. Не задав ни единого вопроса о ее предпочтениях, он приносил ей твердые зеленые яблоки и розовый зефир, конфеты “Раковые шейки”, лиловую, а не белую сирень и сыр “Костромской”. Все, что она любила.

Алиса всегда была чувствительна к запахам, и все мужчины, с которыми у нее были когда-то отношения, пахли железом, или куревом, или зверем, а этот, любовник ее старости, — беззлобным детским мылом, которым он мыл свои докторские руки перед каждым и после каждого осмотренного больного. Тем самым мылом, которое Алиса всегда предпочитала всяким земляничным и прочим искусственно душистым...

Александр Ефимович, проживший всю жизнь с женщиной могучей и требовательной, обширной в потребностях, неутомимой в разнообразных и взаимоисключающих желаниях, впервые обнаружил, что рядом с женщиной можно быть свободным от неиссякаемой женской власти. От сдержанной Алисы, застенчивой даже

в минуты близости, исходила молчаливая благодарность. На исходе шестого десятка он почувствовал себя не пожизненно нанятым обслуживающим персоналом, а щедрым дарителем радости. И звали они друг друга в минуты нежности одним и тем же подростковым именем — Алик.

Александр Ефимович, много лет проработавший невропатологом в поликлинике ВТО, Всероссийского театрального общества, благодаря своим пациентам обладавший необъятными связями, водил Алису среди недели на лучшие спектакли сезона, в консерваторию, а по субботам приезжал к ней на интимный ужин. Алиса впервые в жизни готовила еду не для себя одной...

Жизнь поменялась, и возраст отступил, и только одно тревожило: где-то вдали маячившая и не отпускающая мысль, что это незапланированное счастье не может долго продолжаться.

Алиса знала, что после смерти жены он живет с младшей незамужней дочерью Мариной,

не совсем здоровой и не вполне благополучной. Старшая Аня, здоровая и благополучная, давно жила отдельно с мужем и двумя детьми-школьниками.

Всю зиму они встречались, как влюбленные подростки, а летом поехали вдвоем отдыхать, нарушив планы младшей дочери, привыкшей проводить летний отпуск вместе с родителями. Но Александр Ефимович не посвящал Алису в этот огорчительный конфликт с дочерью. Он купил две путевки в Комарово, и в середине лета, когда белые ночи уже начали меркнуть, а холодноватая питерская жара была неутомительна, они приехали в Дом творчества.

У них были отдельные номера, в разных концах коридора, и обоих забавляли взаимные вечерние визиты.

— Алик, мы с тобой, как школьники, скрываемся от родительских глаз, — смеялся Александр Ефимович, когда Алиса открывала ему дверь в номер после слабого ритмичного стука.

Алиса только загадочно улыбалась в ответ на шутку: первый в ее жизни вялый роман слу-

чился через пять лет после смерти матери, когда одноклассницы и сверстницы успели обзавестись мужьями, детьми и любовниками, развестись и снова выйти замуж, и как именно скрывают подростки от родителей свои романы, она понятия не имела. А ее мать Марта своих романов от Алисы скрывать и не думала, все они были напоказ, и Алиса страдала от ее шумных страстей.

Все, чего недополучила Алиса в молодости, обрушилось на нее в преклонном возрасте, и она слегка стеснялась своего положения любовницы, особенно по утрам, когда они спускались в столовую, где сидели почти сплошь пожилые пары, давно уставшие от супружества. После завтрака они уходили в дальние прогулки, иногда пропускали обед, возвращались только к вечеру. Оба они впервые были на этой финской земле, мало что знали об истории и географии здешних мест, и бродили наугад, то выходя через дюны к песчаному пляжу, с редкими валунами, забытыми на берегу в ледниковый период, то забредая к Щучьему озеру, где

купаться было гораздо приятнее, чем в Финском заливе, заросшем какой-то бурой тиной.

На озере Александр Ефимович встретил знакомого актера, из своих старых пациентов, завсегдагая этих мест, бывшего ленинградца. Тот сидел с сонной удочкой в бесплодной надежде вытащить из воды если не щуку, то хоть окунька, обрадовался доктору и, узнав, что тот в этих местах впервые, взялся показать им бывшие Келломайки. Он водил их по всему поселку, показывая старые финские дачи из тех, что не были увезены в разобранном виде в Финляндию, когда эта земля перешла к России, подвел их к дому Шостаковича, к будке Ахматовой, обновленной и выкрашенной в бодрый зелененький цвет, к даче мало кому известного академика Комарова и всем известного академика Павлова... Дня три они ходили с этим добровольным экскурсоводом, а потом оторвались от него и бродили в реденьких сосновых лесах, собирая чернику и кислую малину...

Двадцать четыре путевочных дня длились бесконечно, и они сблизились за эти длинные

дни и короткие ночи, как будто позади были совместно прожитые годы.

Когда они вернулись в Москву, Александр Ефимович сделал Алисе предложение. Она долго молчала, а потом напомнила ему о своей просьбе, которую он так и не выполнил. Он успел забыть, о чем идет речь. О снотворном...

— Алиса, Алинька, зачем? Теперь-то зачем?

— Теперь — особенно, — улыбнулась Алиса.

— Не понимаю...

— Потому что это кончится... и я хочу быть к этому готовой.

Он уже знал, что спорить с Алисой бессмысленно.

— Это безумие. Но я согласен.

Алиса вытащила из ящика стола белую фарфоровую коробочку и протянула Александру Ефимовичу:

— Положишь вот сюда.

Это был какой-то сдвиг в сознании, но с этим ничего нельзя поделать.

— Хорошо, хорошо. Но прежде мы поженимся. А потом положу — будет свадебный подарок.

Он засмеялся, она нисколько не улыбнулась ему навстречу.

— Женитьба эта... Людей смешить? И что скажут твои дочери?

— Это не имеет никакого значения, — ответил он и задумался. Для младшей, неустроенной, с шаткой психикой, это действительно могло стать ударом...

Осенью, вскоре после первой годовщины их знакомства, Александру Ефимовичу исполнилось семьдесят лет. На работе он устроил скромное чаепитие, получил от сослуживцев в подарок новый кожаный портфель, который отличался от старого только изменившейся цифрой на серебряной нашлепке — “70” вместо “60”.

Для семьи и друзей он заказал ужин в ресторане “Якорь”. Алиса идти не хотела. Он настаивал — это будет самый лучший случай для знакомства с его дочерьми. Александр насту-

пал, Алиса отступала. Со своими близкими друзьями, одноклассниками Костей и Аленой, и однокурсниками доктором-психиатром Тобольским и доктором-акушером Прицкером, он познакомил Алису еще раньше. Семья — это был последний рубеж.

После некоторых колебаний он пригласил двоюродную сестру и Мусю Турман, ближайшую подругу покойной жены. Это был жест рискованный, но стратегически безукоризненный. Он вел подготовку широким фронтом.

Алиса колебалась. Она капризничала до последней минуты, то соглашаясь идти на этот прием, то отказываясь. Она давно уже привыкла жить королевой: ей совершенно не важно было, нравится она окружающим или нет — королевы не испытывают этого чувства зависимости от чужого мнения... А тут она заволновалась и сразу же почувствовала раздражение на себя самой.

Александр Ефимович убедил ее за час перед выходом из дому: ты слишком много значишь

для меня, и я не могу больше тебя скрывать. К тому же мне ведь всех их надо подготовить...

И она сдалась.

Все пришли почти одновременно, в десять минут восьмого гости сидели за столом.

— Знакомьтесь, Алиса Федоровна, — гордо произнес Александр Ефимович и представил подруге поочередно гостей: Аню с мужем и двумя внуками, Марину, Мусю Турман. Со своими друзьями он уже успел ее познакомить прежде.

Алиса была безукоризненна и знала это. Табачного цвета шелковая блузка была перехвачена мягким кожаным поясом, и ее тонкая талия была единственной талией среди бочкообразных фигур всех прочих дам. Гости были несколько ошарашены, даже дочери, заранее предупрежденные, что отец пригласит свою подругу. Муся Турман потеряла дар речи — она смотрела на эту особу глазами покойной Раи и чувствовала себя оскорбленной.

— Ни рожи ни кожи, — шепнула она Ане. Но Аня ее не поддержала:

— Ты что, тетя Муся, очень даже интересная женщина. И фигура...

— Что фигура, что фигура? — фыркнула шепотом Муся. — Она его обработала и еще всем покажет, попомнишь мои слова.

Но официант уже разлил шампанское, и друг Костя поднял бокал...

Костя, седой, щекастый, шарообразный, заговорил: что знакомы они с Сашкой шестьдесят семь лет из семидесяти, что они знают друг друга так хорошо, что иногда не могут разобрать, где проходит граница между их мыслями, что он давно уже не знает, кто первым сказал, кто первым подумал, что они больше чем друзья, и больше чем братья, и что всю жизнь он, Костя, идет за ним следом, но никогда не догоняет... и еще другие слова, которые все были хвalebными и каким-то образом веселыми. А под конец сказал, что рад видеть рядом с Сашкой волшебную Алису, которая пришла к ним из Страны чудес. Алиса прохладно улыбнулась...

Через месяц они тихо и буднично расписались. Александр Ефимович свое обещание вы-

полнил: фарфоровая коробочка, полная зернисто-белого порошка, стояла в столе, позади стопки писчей бумаги, конвертов и старых проездных билетов,

Александр Ефимович с удивительной деликатностью вписался в Алисину квартиру, ничего там не нарушив, а наоборот, основательно починив все, что было подклеено пластырем и подвязано веревочкой. Он закрепил провисающий рожек люстры, заменил давно не работавшую конфорку, и у Алисы укреплялось смутное чувство, что его медицинская профессия заключается в лечении всего, к чему он прикасался. Без всякой посторонней помощи расцвел на окне цветок, который прежде никогда этого не делал.

Супруги, которые и прежде не жаловались на здоровье, заметно помолодели.

— Презапустили гормональные циклы, — смеялся муж.

К весне открылось еще одно непредвиденное и маловероятное событие: младшая дочь Александра Ефимовича Марина в свои неполные сорок лет забеременела. Ее врожденный

дефект — расщепление губы и неба и оставшиеся на лице небольшие шрамы от вполне удачной операции — исковеркал больше ее характер, чем внешность. Она с детства избегала какого бы то ни было общения, выбрала себе профессию корректора, при которой она общалась исключительно с текстами, а не с людьми. То обстоятельство, что ей удалось забеременеть, изумило отца. Однако он скорее радовался, понимая, что оставляет дочь не в одиночестве, а с ребенком, который способен заменить собой весь враждебный, как та считала, мир.

Алиса неопределенно кивнула головой: у нее были свои соображения относительно деторождения, но она не считала нужным делиться ими с мужем. Тем более что соображения ее давно потеряли какую бы то ни было актуальность.

В то время, когда Александр Ефимович поделился с Алисой своей новостью, беременность, полгода таящаяся в толстом животе, была незаметна даже внимательному глазу. Всё та же толстая, оплывшая тетка, какой Марина была с молодых лет.

Когда время приблизилось к родам, пожилую первородящую отец устроил в хороший роддом на Шаболовке, где заведовал отделением однокурсник Прицкер. Принимая во внимание возраст и вес, решили делать кесарево сечение. Операцию назначили на утро вторника. Александр Ефимович дождался звонка от хирурга, получил сообщение, что все в порядке — девочка без каких бы то ни было дефектов, во всяком случае, без заячьей губы... Александр Ефимович помнил тот ужас, который испытал, когда жена вынесла из роддома девочку с зияющей треугольной дырой от рта до носа. Теперь вздохнул с облегчением.

— Ну, поеду в роддом, — сказал он Алисе.

Собрали продуктовую передачу для роженицы — кефир, молоко, конфеты и кусок сыра. Он вышел из дому, в ближайшем цветочном магазине ему повезло — как раз привезли прекрасные, любимые Алисой гиацинты, и он купил целую охапку для дочки и медсестер. Продавщица упаковала ему букет в подарочную бумагу. Он вышел на пустую улицу в за-

мершее послеобеденное время с цветами и пластиковым пакетом с продуктами. На автобусной остановке стояла реденькая толпа. Он встал чуть поодаль, чтобы толкающиеся люди не задела прекрасных гиацинтов, когда подойдет автобус.

В этот момент ехавшая посреди улицы на большой скорости черная машина столкнулась с другой, такой же большой и черной, и ее вынесло на тротуар. Машина уткнулась в фонарный столб, сбив по дороге трех человек из очереди. Одного, с букетом цветов, насмерть...

Вечером Алиса позвонила Прицкеру. Тот сказал, что с Мариной и ребенком все в порядке, но Александр не приходил. Алиса начала звонить по телефонам. Через пятнадцать минут Алисе сообщили, что ее муж находится в морге. Они весь день пытались разыскать его семью, но по месту прописки к телефону никто не подходил.

Это был конец. “Да, да, чего-то такого я и ожидала”. Фарфоровая коробочка в столе...

Следующее утро Алиса начала с роддома — отнесла Марине молоко, кефир и сыр. Потом

поехала в морг. Похороны оттягивались из-за судебной медэкспертизы.

Марине сообщили о гибели отца только на третьи сутки. У нее начался острый психоз, и второй друг Александра Ефимовича, профессор Тобольский, положил ее в институт Кашенко. Девочка оставалась пока в роддоме... Аня, старшая сестра Марины, взять ребенка не смогла — взбунтовался муж, который Марину терпеть не мог.

Через две недели ребенка взяла из роддома бабушка. Алиса Федоровна. То, что счастье ее с Александром Ефимовичем будет недолгим, Алиса предчувствовала, а про новорожденного ребенка никакое предчувствие ей не подсказало.

Девочка жила в коляске, рядом с Алисиной кроватью. Переезжать в более просторную квартиру покойного мужа Алиса не хотела. Там была грязь и ужасная ванна с потрескавшейся эмалью, а здесь — новенькая, сияющая белизной.

Только через полгода Марина вышла из психиатрической лечебницы. Но как можно

Подружки

было доверить маленькую Александру этой рыхлой, психически больной неопрятной женщине?

Коробочка с барбитуратом лежала в ящике стола, но воспользоваться свадебным подарком мужа Алиса уже не могла. То есть теоретически могла. Когда-нибудь... когда обстоятельства созреют...

ИНОСТРАНКА

Сплющенная с боков женщина с целеустремленной грудью искоса разглядывала сидящего на другом конце садовой скамьи молодого человека, уткнувшегося в газету. Он ей чем-то понравился. Пожалуй, газетой. Ей нравились мужчины, читающие газеты. И первый ее недолгий муж, инженер, погибший в цеху при аварии, по воскресеньям перед завтраком выходил в киоск за газетой, и второй, теперешний, тоже читал газеты по утрам. Он приносил их с работы, правда,

всегда вчерашние. И этот, на лавочке, читал газету.

“Иностранная! — косым взглядом зацепилась она за большие волнистые буквы заголовка. — А пусть! Даже интереснее!”

Она придвинулась поближе и ткнула пальцем в газету:

— Это ж на каком языке-то?

Газетный человек слегка дернулся, повернулся к ней всем туловищем:

— Что вы спрашиваете меня?

“Точно, иностранец!” — обрадовалась женщина.

— Я говорю, какие буквы интересные, на каком языке читаете?

— Арабский язык, — любезно ответил молодой человек. И подумал: “Наверное, проститутка”.

Крашенная блондинка, за сорок, придвинулась к нему еще ближе. Сумка с металлической застежкой, которую она прижимала к изрядному животу, развеяла сомнения: определенно проститутка...

Ему было двадцать семь лет. Второй год он жил в Москве. И не где-нибудь, в Московском университете, в общежитии для аспирантов, в корпусе Л. Он давно уже решил, что заведет себе женщину, — все соседи по общежитию водили к себе каких-то баб, кто по пропускам, кто украдкой, мимо коменданта, мимо дежурных по этажу. И ничего. А он все не мог решиться.

— О, какие буковки красивые, прямо лучше нашего! — фальшиво улыбнулась женщина, но он не понял, что она сказала. Он был математик, поступил в аспирантуру к известному профессору, говорил он с ним по-английски, да и какие разговоры у математиков? Понимание без слов, на высшем уровне не понятных простому смертному символов. Русский, конечно, он изучал, но не сильно продвинулся... Работа мысли отражалась в морщинах на его лбу — все не мог построить простую, в общем, фразу: “Сколько стоят ее услуги?” Это был случай, которого он давно ждал, но вдруг оробел, смутился, что ничего не получится. И еще больше ис-

пугался — вдруг получится... Не было, не было у него никогда женщины. Он и за руку ни одну девочку не держал. Они, чуть выростали, замонтаны были в непроницаемые платья и платки, одни глаза сверкали в щелях, и разглядеть их было невозможно. Женские прикосновения, которые он помнил, — матери, бабушки, теток. Старухи все. И даже сестры у него не было. Два брата...

Когда отправили учиться к дяде в Багдад, в хорошую школу, там хоть и город большой, но правила были все те же. Да и выбор был его — математика. А уж это было одно из двух — жениться или учиться. У Салиха сомнений на этот счет не было: учиться...

— Надо же, арабский! А у меня дочка английский учит. Тоже трудный язык, — заметила женщина, все разглядывая искоса газету.

— Дочка? — переспросил он, недоумевая.

— Да, дочка у меня есть, Лиля, английский учит. Все на пятерки!

— Хорошо, — сказал молодой человек и уткнулся в газету.

Странная женщина! Если проститутка, зачем она мне про дочку говорит? И он совсем уж решил сбежать, но тут она приподняла руку, положила ее на спинку садовой лавки, и на него пахнуло таким женским нутряным духом, что сомнений никаких уже не было: получится, получится все. И он заволновался, стал строить в голове фразу, которая все не составлялась, сказал только: “Э-э-э... дочка... дома?”

Женщина засмеялась: “Дома, дома дочка. Ей восемнадцать лет скоро. Красивая девочка у меня. А вы, извините, женаты?”

Он покачал головой. Разговор принимал неожиданное направление. Он развернулся к женщине — она посмотрела на него с большим вниманием, заметила, что один глаз у него немного косит, и вообще, не красавец. Но одет в костюм хороший, с галстуком, туфельки чистые. Интересный мужчина, пусть...

— Как вас зовут? — очень решительно повела партию женщина, и он обрадовался, что она взяла дело в свои руки.

— Салих.

Она протянула ему руку — сильную шершавую руку — и энергично тряхнула его вялую кисть.

— А я Вера Иванна. Значит, не женат? А что вы здесь делаете, в Москве-то?

— Я диссертацию делаю.

— О-о! — обрадовалась женщина. — Ученый?

— Математик, — кивнул он, погружаясь в полнейшее недоумение. Ее сладкий подмышечный запах все еще вился вокруг нее, как дымок вокруг кебаба...

— Жениться хочешь?

И все прояснилось, просветлело — сваха! Сваха была эта тетка! Не проститутка!

— Хочу! — улыбнулся он. — Хочу жениться.

Лилька была не как все прочие девчонки. В мыслях у нее не было никакого замужества, напротив, презирала она это замужество, потому что отлично знала его на слух: утренний скрип кровати, пыхтение дяди Коли, отчима

и матушкино легкое хихиканье, завершающееся шкрябаньем таза, стоящего под кроватью, и звуком льющейся воды. Под эту музыку она просыпалась в шесть утра, потом еще на час засыпала, а когда вставала в семь часов, то уже никого не было: дядя Коля с матушкой отчаливали на работу.

С дворовыми девчонками, рано начавшими эти скрипучие развлечения, Лиля не дружила, за что они и прозвали ее “воображалой”. И были правы: Лиля действительно воображала свою будущую жизнь не очень определенно, без подробностей, но с точными деталями: у нее будет хорошая денежная работа, бухгалтера или учителя, профессия с дипломом, своя комната цельная, без разгородки, и одежда не деревенская, как все во дворе носили, а костюм с блузкой, как у школьных учительниц. И туфли на каблуках. Белые... Почему белые, непонятно, в белой обуви грязь месить как-то глупо. Но мечта ее с этим не считалась. Туфли белые!

В ближайшие Лилькины планы входили экзамены за десятилетку и поступление в инсти-

тут. В какой — не решила. Был поблизости от дома химический, но химия ей не нравилась. Нравился ей предмет “английский язык”, и она узнала, где находится такой институт, чтобы изучать иностранные языки. Их оказалось целых три — институт иностранных языков, педагогический и университет. Теперь, к концу десятого класса, она колебалась, куда подавать — иностранный язык учить или все же в бухгалтерский институт, такой тоже был. Ей по неопытности казалось, что бухгалтер — денежная профессия. Словом, среди жизненных задач ближайшей пятилетки замужество у нее не было запланировано. План был сверстан строго: институт, замужество после окончания, в двадцать три года, в двадцать четыре родить ребенка и так далее... Теперь она готовилась к выпускным экзаменам, зубрила математику.

И тут пришла Вера Иванна. Выражение лица у нее было загадочное. Она часто такое на себя напускала. Принесет сверток с работы, помашет перед носом с этим загадочным выражением: “Ну, что я принесла?” Это понятно — либо крас-

ную икру в пергаментной бумажке, либо кусок плывущего сливочного масла. Тоже мне, загадка. Работала она диетсестрой в больнице, в пищеблоке, и постоянно оттуда что-то тибрила. На этот раз выражение было, а свертка никакого.

— Ну, Лилька, нипочем не догадаешься, что я для тебя добыла! — подбоченясь, сказала мать. Лиля едва голову повернула. Она к выпускным экзаменам готовилась, не до мамкиных глупостей. Но мать не отставала:

— Лиль, Лиль, ты послушай!

— Мам, контрольная по математике завтра, отстань!

— Да я, может, такой сейчас тебе подарочек сделаю, всю жизнь за меня молиться будешь.

Лиля встрепенулась:

— Туфли, что ли, белые купила?

— Дура ты, Лилька! — обиделась Вера Иванна.

По поводу белых туфель второй месяц шла дискуссия — покупать или не покупать. Выпускной вечер, считала Вера Иванна, не такое уж и событие, чтоб белые туфли покупать:

Лилька обувь плохо носила, все скашивала на один бок, а уж туфли на каблуках точно испортит, до свадьбы не хватит.

А белые только на парад, другое дело черенькие — такая между ними шла дискуссия.

— Дура ты, говорю! Здесь такое дело наворачивается, что и туфли белые, и платье белое, и вообще!

Лиля встрепенулась:

— Mam, шутишь, что ли?

— Какие шутки! Жениха тебе нашла! Иностранца! Вот! — выложила на стол свои карты Вера Иванна.

— Мать, ты что? Я даже об этом и думать не думаю! На что мне оно? Забуди! Ты мне туфли белые или так купишь, а чтоб замуж идти, тогда никаких туфель мне не надо! — решительно отказалась Лилька.

— Ну и дура, дура будешь! — рассердилась Вера Иванна.

— Сама ты дура, — невежливо ответила Лиля. Так между ними было принято, без китайских церемоний, со здоровой простотой.

— О! Умная нашлась! Вся в папашу!

Папашу Лиля не помнила — ей еле два года было, когда он погиб. Да и у самой Веры была смутная память о том муже. Хотя она часто дочери говорила — в папашу пошла! По разным поводам говорила: то как будто в похвалу, что учится хорошо или в шахматы играет, то раздраженно — когда пол не помыла или другое материнское поручение не выполнила.

У Веры в предвоенные годы было много ухажеров, а как война началась, всех парней стоящих на фронт отправили, она испугалась, что вообще никаких мужиков не останется и вышла за того, кто был под рукой. Был инженер в цеху, лысый очкарик по фамилии Шильц, и старше Веры на десять лет. Что в нем было хорошего — комната. Перевесила и лысину, и вид не совсем бравый. Три года за ним прожила, лучше никто не подворачивался. И дочку родила. А он погиб, взрыв был на заводе... А в той шильцевской комнате Вера и по сей день жила — с дочерью Лилькой и вторым мужем Колькой. А Лиля о покойном отце только

и знала, что носила его неудобную колючую фамилию, из-за которой ее дразнили “шиллом”...

— Математик ученый, не хер собачий! Иностранец! Я тебе плохого не посоветую! — обиделась Вера Иванна. — Тебе такого самой ввек не сыскать!

Лиля призадумалась. Туфли белые тоже свой вес имели... Мать слов на ветер не бросала.

Первая встреча жениха и невесты назначена была на воскресенье, у входа все в тот же сад “Эрмитаж”. После выпускного вечера прошла неделя, это Лиля матери твердо определила — после экзаменов! Лилька поковыляла на первое свидание к жениху в белых туфлях на каблуках, уже заранее матерью купленных: все думали, что для выпускного вечера, но Лиля знала, что к свадьбе. Вера Иванна немного нервничала, хотя она ему два раза звонила, обо всем договаривались, он свои намерения подтвердил. Было, конечно, опасение, что рыбка

сорвется, но жених пришел минута в минуту, в шесть часов вечера, на то самое место, где состоялось знакомство.

Последние дни Салих все отвлекался мыслями от работы, две ночи плохо спал, уж совсем было решил, что не пойдет на эти странные смотрины. А проснувшись, обнаружил, что решение принято как будто против его воли — и он засобирался. Долго мылся, брился, выбирал галстук. Он понимал, что нарушает все законы и правила жизни, но ничего не мог поделать: его охватило волнение предстоящей женитьбы... Доводы разума говорили, что волнуется он преждевременно, что невеста может быть совсем негодной, а уж семья его воспримет самовольную, нарушающую все семейные традиции женитьбу на подозрительной русской ясно, что в штыки. Беспокоил его не столько отец, сколько мачеха, хранительница всех правил жизни. Слово, которое не сходило с ее уст, было “усуль” — порядок.

В семье всегда считалось, что Салих особенный. Не для торговли создан Аллахом, а для чего-то умственного. Деревенский учитель на второй год учебы сказал отцу, что у Салиха другая дорога, чем у всех прочих ребят, и отец послал его в Багдад, к своему младшему брату, торговцу тканями. Там он закончил английскую школу, потом Багдадский университет, в аспирантуре учился... “Может он, наконец, себе позволить жить как европеец!” — уговаривал он сам себя. И пошел знакомиться с невестой... Почти как европеец.

Он был высокий, правое плечо выше левого, голову держал немного набок, со вниманием. Лиле в нем больше всего понравились очки — у нас таких не делали: оправы коричневая, толстая, а стеклышки, самые глазки поставлены как будто немного наискосок. Лиля и сама ходила в очках по близорукости, но оправы была никудышная. Он был в светлом костюме и в белой рубашке с желтым галстуком. И ботинки какие-то особенные, коричнево-красные, с кожаной скобочкой поверху,

украшенной пробитыми дырочками. И сразу было видно, что он иностранец, особенно по очкам и ботинкам... Лиля таких мужчин сроду не видывала — не сказала бы, что он ей сам по себе понравился, но вызвал заинтересованное уважение.

Жениху невеста понравилась еще издали: рядом со знакомой уже крашеной блондинкой смутно маячила маленькая тонконогая девушка с большой грудью. Не совсем блондинка, но и не брюнетка. Приближаясь, он заметил, что она в очках, и почувствовал прилив неожиданной нежности и общности. Иракские невесты очки не носили, только старухи, исполнившие свое женское предназначение, могли себе позволить признаться в плохом зрении. Именно Лилины очки представились ему признаком ее несомненной правдивости. Женщины в России были красивыми, но вызывали подозрение: в каждой красавице Салиху чудилась опасная испорченность, если не сказать хуже. А эта красавицей не была, но вид имела очень приличный.

Девушка первая протянула ему руку, но без всякой улыбки, и это ему тоже понравилось: строгая! Сказала: меня зовут Лиля. Красиво!

Через полчаса они сидели в кафе. Он заказал всем троим кофе и пирожные. Мать невесты съела одно пирожное, а потом и второе — Лиля отказалась: “Все удивляются, а я сладкое не люблю”.

Еще через десять минут Вера Иванна посмотрела на часы и сказала, что спешит по делам, — и ушла. Салиха оставили наедине с невестой, и это его поразило. Удивительный народ! Вот так, в первый день знакомства оставили девушку одну с мужчиной... Нет, не случайно они войну выиграли! Отчаянный народ!

— *Do you speak English?* — задал жених проверочный вопрос, просто так, наудачу.

Лиля улыбнулась:

— *I am the best in my class!**

И Салих понял, что судьба его решена.

* — Вы говорите по-английски?
— Я лучшая в классе! (англ.)

Первое, о чем спросила невеста, когда они остались наедине, правда ли, что он математик. Спросила по-английски. Он сказал, что да, математик. В МГУ сильная математика, и потому он сюда приехал.

— А я математику ненавижу, — призналась невеста, но жених не сразу понял. — Не люблю, — уточнила невеста. — У меня по всем предметам пятерки, а по математике тройки.

— Это не имеет значения. Когда мы поженимся, ты не будешь заниматься математикой.

— Конечно, не буду! — засмеялась невеста. — Еще чего!

Потом они вышли из кафе, Лиля заторопилась домой. Он хотел взять такси. Невеста остановила и объяснила:

— Чего деньги зря тратить? На троллейбусе три остановки, прямо до дома. И стоит четыре копейки!

Это заявление экономического порядка развеяло последние матримониальные сомнения: такая выстроилась неизбежность судьбы — грудь, очки, порядочность, английский язык,

экономность. И Салих предложил Лиле подать заявление на свадьбу.

Лиля засмеялась: заявление не на свадьбу, а на заключение брака. А свадьба — это после!

— Конечно, после, — согласился жених.

Порядочная, очень порядочная девушка. И взял ее под руку. Она не возразила. Рукав розового платья был короткий, рука была голая и гладкая, как бумага. И белая-белая. Первый раз в жизни Салих прикоснулся к женщине.

Лиля сболтнула. Не удержалась. Сначала сказала Женьке, что у нее есть жених-иностранец. Потом Люське — что жених-математик. Дальше уже ничего никому говорить не нужно было — все знали, что Лиля собралась замуж. Вера Иванна тоже узнала об этой новости во дворе — шла домой с работы, Женька подскочила:

— Тетя Вера! А когда Лилькина свадьба будет? А правда — за иностранца?

Дальше все закрутилось неправдоподобно быстро. Вера Иванна все стратегически продумала: домой жениха не пригласила, хотя комната была хорошая, восемнадцать метров, но все же коммуналка. Да и не особенно богато жили, третий год все не могла собрать на сервант, а без серванта бедновато выглядело. Хотя ковер хороший на стене был. Но кто их, иностранцев, знает, они, может, все к отдельным квартирам привыкли.

Жених и невеста два раза сходили в кино, гуляли в парке Эрмитаж и в Нескучном саду. А потом подали заявку на бракосочетание в единственный ЗАГС, где расписывали иностранцев со счастливыми русскими девочками. Срок рассмотрения был дольше, чем в обычных ЗАГСах, три месяца...

Жизнь обещала Лиле большие перемены, но генерального плана своего она не поменяла — подала документы в педагогический институт, хорошо сдала экзамены, и ее приняли. Когда сказала об этом матери, та только рукой махнула — делай что хочешь, ты сама себе хозяйка, перед мужем отчитывайся.

— Мам, я тебя не понимаю, или я хозяйка, или отчитываюсь, да? Это ты перед дядей Колей отчитывайся, а я перед своим не собираюсь...

И не сообщила будущему мужу о том, что стала студенткой.

После унылого, как преждевременная старость, августа наступило медовое бабье лето, обманчиво предвещавшее блаженную остановку в рутинной смене сезонов. Эти последние драгоценные дни умиротворения природы, освободившейся от долга плодоношения, были идеальны для свадебных празднеств, обещавших новую завязь и новые плоды... Местные жители обычно играли летние свадьбы во дворе зеленого проулка, который несправедливо назывался Церковный тупик, хотя давно уже тупиком не был. На месте рассыпавшихся в прах двух деревянных строений проложили дорогу к институту Бурденко. Сбоку от дороги, на вытоптанной площадке, с одной стороны отгороженной от

мира глухой стеной красного кирпича, а с другой укрытой тремя старыми липами, обычно устраивали и похороны, и свадьбы. Два барака ограничивали эту сценическую площадку с боков. В обычные дни обитатели двух барачков слегка враждовали, но ради праздников и поминок собирались вместе, сколачивали длинный стол для общего дела: гроб поставить или свадьбу отыграть.

Вера Иванна после подачи заявки на бракосочетание сразу стала обдумывать, как все с толком организовать — чтоб не хуже, чем у людей. Но и не лучше... Но Лилька с самого начала объявила — нет, мам, никакой этой деревенской свадьбы мне не нужно: в ресторан пойдем. Вера Иванна чуть не лопнула от негодования: да ты прикинь, это сколько денег нужно, чтобы всю ораву накормить-напоить в ресторане?

— Вот слушай, мать, что я тебе скажу — свадьба наша будет в ресторане, а гостей будем мы с Салихом звать: ты с дядей Колей и тетя Раиска, фиг с ней. Вести себя не умеет, но я ей

хвост заранее накручу. Или сама с ней поговори, все же сестра она тебе. И пусть одна приходит, без этого своего полюбовника. Ну, может, еще двое свидетелей, от моей стороны Люська, а от Салиха его парень из посольства. И все!

Вера Иванна разоралась. Сначала даже схватилась за бельевую веревку, которой она в детские годы учила дочку уму-разуму. Но Лиля явила большую твердость и даже некоторую мудрость:

— Вережку-то положи! Ты хотела меня замуж выдать, считай, выдала. А дальше будет по-моему. Никакой деревенской свадьбы не будет. Муж у меня иностранец, не буду я перед ним срамиться. Подумает, деревенщину взял. А я хочу по-культурному.

— А крестна? А золовка? А Роза Петровна Яровая? А дядя Геня Зюгошин? Барачных наших человек сорок, а родня? Что люди скажут? Лилия, так не делают, не делают так!

— Мам, да как они делают, так я не хочу. Они напиваются как свиньи, дерутся, матом ругаются. Оно мне не нужно.

— Ну, в отца! Вся в отца! — И Вера Иванна заплакала, увидев на Лилькином лице смертельную решимость. — Как ты людям в глаза смотреть-то будешь?

— А не буду! Не буду смотреть в их глаза! Мы после свадьбы уедем, вроде свадебное путешествие, вот...

— Вот точно в отца! Все не по-людски! — фыркнула Вера Иванна, но ясно было, что сражение она проиграла.

Так все и было. Расписались утром, на третьей неделе сентября. Туфли Лиля надела белые, она за лето их растоптать не успела, надевала всего раза три после выпускного вечера. Платье пошили белое, из толстого капрона — Вера Иванна достала на таинственной базе в Подольске, куда простым людям вход был заказан, они там на правительство работали.

Сохранилась свадебная фотография: Лиля в белом платье, облегающем ее обильную грудь, — портниха с платьем намучилась, шесть выточек заложила, и сидело платье в верхней части панцирем, как из железа сковано. А юбка

широкая, полных два полотнища по метр двадцать, послефестивальная мода на широкие юбки еще не отошла. Но юбка в фотографию не вошла, портрет парный поясной — только видно, что платье закрытое под ворот и длинные рукава. А жених в сером костюме и в белом галстуке.

Салих таких фотографий заказал двенадцать штук, одна долгое время жила у Веры Ивановны, она ее то вешала на стенку, то снимала, в зависимости от фаз луны, точнее, от фазы ее отношений с дочерью и политических зигзагов.

Государство Ирак было еще хуже нашего — там вообще ничего не поймешь, не то Восток, не то Запад, не то друзья, не то враги, а от Салиха невозможно было ничего добиться, он, кроме математики, вообще ничего знать не хотел. Отчим Лилин, дядя Коля, политикой интересовался, хотел вникнуть, где наши-то... Ясности не было.

Свадебные фотографии Салих отослал с дипломатической почтой в Ирак многочислен-

ным родственникам и вызвал тем полное смятение: женился неизвестно на ком, не по правилам. Фатьма-ханум, мачеха Салиха, принявшая его младенцем из рук матери и любившая его едва ли не больше двух сыновей, что родила овдовевшему отцу Салиха, разглядывала эту парадную фотографию со смешанным чувством негодования и восхищения. Ей понравилась эта дерзкая стриженная девушка и нравился Салих, который в своей жизни делал все не так, как того требовали обычаи. В конце концов она положила фотографию в шкатулку, завернув в кусок шелковой ткани.

Из всего множества людей, окружающих Салиха в Москве, было всего двое, заслуживающих его внимания, — молодой сотрудник иракского посольства Хасан, с витающей над ним будущей большой карьерой, и средних лет русский математик Яков Хазин, научный руководитель Салиховой диссертации. Первый посоветовал ему снять частную квартиру для семейной жиз-

ни, а второй сказал, что женат никогда не был и не рискнул бы пробовать.

Первой рекомендации Салих незамедлительно последовал, снял однокомнатную квартиру на Ленинском проспекте, в пешеходном, хотя и не близком, расстоянии от университета. Жена переехала туда сразу же, как у Салиха появились ключи. Так разрешилась первая из имеющихся проблем: жить в шильцевской комнате, даже за предполагающейся перегородкой из занавески, супруги дружно отказались, обидев тем самым гостеприимную тещу.

— Скатертью дорога, — фыркнула она и не дала дочери никакого приданого.

Сначала Салих удивился, потом возмутился, а потом успокоился. Всюду свои порядки: в конце концов, и он никакого “махра”, то есть выкупа, за невесту не давал и трех принятых свадебных даров не подносил, а только купил два золотых кольца, зато и родители невесты свадьбу не устраивали — счет в ресторане, где устраивали свадебный обед, он оплатил сам, а теща с тестем даже бровью не повели.

К тому времени, как обрученные пошли расписываться, Салиху его невеста все больше нравилась — особенно своей строгостью: о поцелуях и речи не было, и грудь ее, вложенная в лифчик с чашечками, напоминающими чепчик младенца, — о чем Салих не знал, не ведал, — заманчиво выпирала вперед, притягивала все мужское существо и торопила то время, когда, наконец... но была она неприкасаема и недоступна. Это была та проблема, на разрешение которой ушли первые три месяца брака. Девственность Лили, упорная, не желающая сдаваться, оторвала его от написания диссертации, потому что все силы его недюжинного интеллекта буксовали, привычное напряжение переместилось в место, мало пригодное для умственного творчества.

Сразу после свадьбы Лиля открыла мужу свой хранимый до времени секрет: она теперь студентка и с первого сентября уже ходит на занятия в институт, где учиться будет на педагога. Салих удивился: жена его оказалась совсем современной женщиной, хочет получать образо-

вание, и он отнесся к этому известию с уважением. Главной его проблемой в первые месяцы брака было не высшее образование жены, а ее дефлорация.

На исходе третьего месяца, после увещаний, слез, решительных действий, нешуточной борьбы, не доходящей — надо отдать должное благородству мужа — до прямого насилия, Салих добрался до желанного места. Блаженство заключалось в самом свершении, обе упитанные груди лежали, не вполне уместаясь, в ладонях, а измученный жезл пробил так долго не сокрушаемое препятствие. Оба плакали — Лиля от оскорбления и боли, Салих — из-за тонкости нервной организации.

Как вскоре выяснилось, священный плод брака завязался незамедлительно. Лилю это вовсе не обрадовало: ей нравилось иметь мужа-иностранца, но ребенка, по ее прежним планам, одна должна была рожать после окончания института.

Последующие месяцы прошли под флагом взаимного поражения. Впрочем, поражение прошло незамеченным обеими сторонами: Лиля, никогда об эротических шалостях ничего не ведавшая, — во дворе ее детства царил отношение к половой жизни как к интересной непристойности, а заграничное слово “секс” тогда еще не вошло в жизненный обиход, — свела супружеский обряд к еженедельной обязанности, к тому же когда выяснилось, что она беременна, то это обстоятельство Лиля регулярно использовала, старалась “замотать” супружеские упражнения, ссылаясь на препятствие со стороны природы. Что же касается супруга, он испытал некоторое разочарование: брачные радости, в их литературных описаниях, представлялись более захватывающими, чем скромная реальность. С другой стороны, он с детства знал о своем интеллектуальном превосходстве перед братьями и сверстниками: голова у него работала несоизмеримо лучше, и восторги, которые полагались молодым мужчинам от общения с плотненькими жен-

щинами в реальности и с девственными гуриями в посмертии, он отнес к числу многочисленных предрассудков малообразованных людей...

Во всех прочих отношениях Лиля оказалась прекрасной женой: она научилась безукоризненно гладить белые рубашки, правильно варить рис, в наемной квартире соблюдала чистоту и тщательно чистила ковер, который Салих купил сразу же, как только они переехали. Лиля все успевала и по утрам училась в институте. Салиху и это в ней нравилось.

Взаимопонимание налаживалось: Лилин английский крепчал и обогащался, чему способствовали занятия в институте. Для Салиха это было приятной неожиданностью — русский язык шел у него самого плохо. Зато Лиля говорила по-английски бойко, и некоторая топорность быстро выправлялась от одного общения с мужем.

Изредка навещавшая дочь Вера Иванна никак не могла взять в толк — удачно она тогда зацепила жениха или промахнулась. Он был

вроде и обеспеченный, но жадноват. Дядя Коля хотел подкатиться денег занять — продавалась у одного мужика в его эмгэбэшном гараже подходящая машина, не очень старая, вполне ничего, мотор перебрать, и еще побегает. А зятек с порога сказал: нет, я учусь пока, родители мне до сих пор помогают. Вот стану сам зарабатывать, тогда поговорим. Может, Салих сказал и поласковой, но Лиля усилила перевод, потому что знала манеру матери и ее муженька грести все в свою сторону. Здесь у молодоженов было полное взаимопонимание...

Лиля между тем подурнела, ее умеренная красота пошла пятнами, живот устремился вперед прежде положенного времени — это от узости таза, как объясняла врач из районной женской консультации в Дегтярном переулке, по месту прописки. Тамошняя врачиха, старая еврейка с нежными усами, по фамилии Берман, была более чем знакомая, к ней с довоенных времен ходили все беременные тетки из двора, и сама Вера Иванна под ее наблюдением рожала Лилю. Вот эта Берман каждый раз

кряхтела, когда Лиля к ней приходила, и на седьмом месяце сказала, что кесарева сечения не избежать. То есть избежать-то можно, но лучше не рисковать, у первородящей с таким сложением есть большая опасность, что сама не разродится...

Ничего этого Лиля мужу не говорила, давала ему живот потрогать, грудь или что там еще — но не более того. Срок шел, обещая освобождение. Экзамены в институте за первый курс она успешно сдала, несмотря на беременность. Но решила, что в будущем учебном году возьмет отпуск, чтобы подрастить ребенка, а через год вернется к учебе.

Лильку в роддом имени Крупской положили за несколько дней до срока, чтобы не упустить и предусмотреть возможные неприятности. Салих пришел под окно только один раз, — в палаты не пускали, — прокричал снизу что-то непонятное, но передачу принес: яблоки, кефир и письмо. В письме было написано, что в Сулеймании умер его отец и ему нужно срочно ехать на похороны.

Лиля в тот же вечер и родила девочку — ровно через год после свадьбы, в середине сентября. Без всякого кесарева сечения, от одного возмущения, что муж покидает ее накануне такого события. Девочка была до смешного похожа на отца, если снять с того очки и усы.

И всё. На этом муж исчез. Забирали Лилю из роддома Вера Иванна с мужем. Сначала дядя Коля на служебной машине отвез ее в съемную квартиру. Там обнаружили следы торопливых сборов, разбросанные вещи, а на столе между невымытыми тарелками и чашками лежала коробочка, которую первой заметила зоркая Вера Иванна. В ней лежало кольцо. Бриллиантовое. Камушек небольшой, но блестящий. Вера Иванна его быстро цапнула и засунула себе в бюстгальтер, приговаривая: “Уж я получше тебя сохранию...”

Лиля промолчала. Ребенок тоже деликатно молчал. Он, то есть она с рождения привыкла к изобилию: молоко из материнских сосков текло непрерывным потоком, без всяких усилий со стороны детского ротового аппарата. Все новорожденные в родильном отделении,

кому от матерей не доставало, питались от Лилиных щедрот.

Вера Иванна оглядела брошенную в спешке комнату и приказала Лиле ехать пока домой, а на съемную квартиру вернуться, когда Салих приедет с похорон. Лиля от растерянности молча согласилась.

Поехали домой, в шильцевскую комнату. Мебель немного подвигали — сервант к тому времени уже был куплен, и теперь он занимал то место, где могла бы стоять детская кроватка. Так что арабскую девочку положили в корзину и назвали неуместным именем Виктория. И стали жить и ждать...

Первые дни все молчали. Дядя Коля, потому что привык молчать. Лиля — потому что ей нечего было сказать, а Вере Иванне было чего сказать, но она изо всех сил сдерживала бурлящую в ней ярость против Салиха, который оказался предателем, как все мужики... хотя и иностранец. И против Лильки, которая, дура, не могла мужика удержать. А то без него не похоронили бы!

А на самом деле зла была на себя. Через неделю призналась: дура я последняя. Нашло на нее прозрение: обманули ее! Думала, приличный иностранец, а он араб... Не вернется. Пользовался — и конец.

Похоже, так оно и было. День шел за днем, прошел месяц, муж не появлялся...

Бедная Лиля! Ей казалось, что она от барачного двора совершила брачное восхождение в высший круг, и теперь возвращение домой, да еще и с ребенком, означало ужасное крушение.

Снятая квартира оплачена была до конца месяца. Муж, уезжая на похороны, не позаботился ни о ней, ни об их ребенке, и ужасное предчувствие овладело Лилей: муж не вернется никогда. С каждой неделей надежда на его возвращение таяла. Тем более что никаких писем...

Октябрь был уже на половине. Теперь Лиля чувствовала себя уязвленной, обманутой, особенно обидно было, что родила, как дура, ребенка, который теперь руки связывал. Она с недоумением смотрела на девочку, не понимая,

зачем ее родила. Девочка вела себя как ангел, видимо, понимала, что матери не до нее. Голоса не подавала, сосала усердно, спала без лишнего просыпа и улыбалась смутной и преждевременной улыбкой.

В конце месяца позвонил хозяин квартиры, велел забирать все имущество, и Лиля с матерью и дядей Колей поехали на бывшую квартиру за Салиховыми вещами, книгами и бумагами. Сначала две картонные коробки стояли под родительской кроватью, потом снесли в деревянной сарай.

Лиля ждала от мужа сообщений, но их все не было. Мысль, что Салиха она никогда больше не увидит, крепла с каждым днем. Теперь надо было самой о себе позаботиться.

Первое, что сделала, — в связи с семейными обстоятельствами перевелась на вечерний. Институт бросать она не собиралась. Днем сидела с дочкой, потом сцеживала молоко и оставляла бутылочки вместе с ребенком на попечение матери. Та первое время молчала, потом однажды, выпив, разоралась на Лильку — что она клуша,

туша, даже адреса не имеет, а надо на алименты подавать, пусть содержит... и велела ей ехать в университет, к профессору, чтобы узнать адрес мужа “досконально”... Сама же наутро сложила все Салиховы вещи в две сумки, удивляясь, зачем ему нужно было столько рубашек — одиннадцать! И три костюма! И поехала в комиссионку в Благовещенский переулок, где всю Салихову одежду приняли за хорошую цену.

В университет Лиля ехать отказалась. Вера Иванна отправилась на Ленинские горы сама. Со своей настырностью прошла через всех вахтеров, разыскала мехмат, явилась в деканат. Там она ничего не узнала, никакого адреса ей не дали, к профессору, имени которого она не знала, тоже не допустили. Не успокоившись, предприняла тайком от Лили вторую попытку выйти на след сбежавшего, как она теперь уверилась, зятка. Разыскала через справочное бюро адрес иракского посольства. Долго не пустили. Наконец пробилась. Там с ней говорили невежливо, им было не до того: у них в Ираке

к этому времени случилась не то революция, не то война. Какой там Салих! И тут Вера Иванна окончательно поняла, что произошел стратегический провал.

Признав свою неудачу, Вера Иванна решила поправить дело. Отбросив заманчивый, но неудачный проект с иностранцем, спустилась на землю и огляделась по сторонам. Девку теперь пристроить было посложнее, с ребенком-то. Тут явилась ей мысль, что дочку эту арабскую можно сдать в Дом ребенка, куда берут на пять лет, а уж потом либо к родителям обратно, либо переводят в детский дом. Изложила Лиле. Лиля пожала плечами и сказала: “Ты, мать, совсем того...”

Тогда мысли практичной Веры Ивановны заработали в другом направлении: у мужа Коли был племянник, он только что отслужил в армии, вернулся, собирался поступать в школу милиции, но пока экзамен не мог сдать. Может, свести? Вера Иванна размышляла...

Размышляла и Лиля. Девочка Виктория росла, а от Салиха не было никакой весточки.

И не будет — осознала Лиля. Замуж она решила больше никогда не выходить. Все хлопоты матери по устройству ее жизни Лиля отвергала... Училась в институте, изучала английский язык, а мать этот иностранный язык возненавидела. Устроилась бы билетером в сад “Эрмитаж” или на кухню хоть в столовую — больше было бы проку...

Жизнь у Лили была трудная: ребенок в яслях на пятидневке — неделю ходит, неделю болеет, работы подходящей найти не могла: кто станет держать, когда она половину времени на бюллетене? Неугомонная Вера Иванна каждую неделю приволакивала в дом какого-то парня, а Лиля только злилась и огрызалась. Так прошел год, и другой...

А потом Лиле приснился странный сон. Как будто она в белых лодочках подходит к реке, снимает их, ставит ровненько бочок к бочку и входит в реку. Вода ласковая и теплая, и она плывет. На самом деле Лиля плавать не умела.

Но тут так ловко, весело вроде и не плыла, а полетела в голубой прозрачной воде. И вода вдруг потемнела, забурлила, и берег исчез из виду, а она все плыла, и все сильнее махала руками, и просто через волны перепрыгивала, как дельфин какой-нибудь, и была очень счастлива — вместо того чтобы испугаться. Вот эта мысль и была самая сильная: я плыву, и мне не страшно! На этом Лиля проснулась.

Этот же сон, с небольшими вариациями, приснился Салиху через год. Как будто он вышел на берег водоема, тихой реки или озера. У самой воды стояли аккуратно, бочок к бочку, Лилины туфли. Самой Лили видно не было. Он тоже разулся, поставил рядом с ее белыми, слегка поношенными лодочками свои старые туфли модели “инспектор”, которую он всегда выбирал, если был выбор. Аккуратно снял носки, скатал шариком, не торопясь разделся, сложил брюки по швам, чтобы не измялись. Медленно вошел в воду по плечи, легко и не задумываясь поплыл.

Плавать вообще-то он не умел. Плыть было легко и весело. Потом вода помутнела, потемнела, поднялась волна, сначала небольшая, а потом сильная, и он боролся с волнами изо всех сил, потому что они норовили его захлестнуть и утопить. Но он выплыл к другому берегу. То, что берег был другой, сомнений не было. Тот был каменистый, и, подходя к воде, он босыми ногами скользил по камням. А этот был песчаный, нежный. Удивительно, что на берегу стояли его туфли, а рядом — Лилины...

На похороны отца Салих не попал. В аэропорту Багдада его задержали и куда-то повезли. Он не сразу понял — куда же его везут. Когда понял, мысленно простился с жизнью. Это была тюрьма Абу-Грейб, откуда мало кому удавалось выйти на свободу. Он еще не знал, что как раз в эти дни началось наступление правительственных войск на взбаламутившихся курдов. Бедный Салих, всегда полагававший, что стоит выше любых политических разногласий в силу своей высо-

коумной математической профессии, оказался в самом центре национального циклона. Его семья была одной из почитаемых и знатных семей Сулеймани...

Арабом Салих был только в глазах его московской семьи. Был он курдом. Но не видел смысла объяснять в России принципиальные национальные различия, тем более что и сам не придавал им никакого значения. Араб, курд, мусульманин или христианин, значения для него не имело... Он был математиком, и мир его делился не по национальным или религиозным признакам, а исключительно по одному параметру: математик его собеседник или нет.

В одной из самых жестоких тюрем мира положение его было исключительным. Он сидел в одиночной камере. Отобрали у него только документы, все его бумаги оставили при нем. Это была просто пятизвездочная гостиница в сравнении с прочими камерами. Он пытался выяснить, за что его задержали, но приносящий ему раз в день миску с рисом и жестянку с водой охранник с ним не разговаривал.

Другой человек на его месте сошел бы с ума, но Салих достал свою записную книжечку и заносил в нее свои математические построения, размышления по поводу отношений между собой объемов и пространств, которых в природе не было, а существовали они только в головах математиков.

Полтора года, которые он провел в одиночке, сохранились в его памяти как период наиболее плодотворной работы мысли, и всю оставшуюся жизнь он снова и снова возвращался к тому простору и свободе мысли, которые открылись ему в тюрьме Абу-Грейб.

Никаких обвинений ему не предъявляли, на допросы не вызывали, не терзали пытками, которыми славилась эта тюрьма, но он в конце концов догадался, почему его так долго держат не убивая. Его родной дядя был одним из лидеров курдского сопротивления. Догадка оказалась совершенно правильной: долгие месяцы шел торг между Саддамом Хусейном и семьей Салиха за его жизнь. Какие аргументы шли с обеих сторон, осталось для Салиха навсегда

неизвестным. Он был, по сути, заложником, о чем ему никто не докладывал.

Через несколько дней после привидевшегося сна его вывели из камеры, погрузили в машину, отвезли в аэропорт и посадили в какой-то маленький самолет без опознавательных знаков. На руки паспорт ему не дали. Поначалу он был уверен, что его отправляют в Москву. Но он ошибался. Посадку, как ему показалось, сделали в Праге или в другом городе Восточной Европы. Потом самолет взлетел и окончательно приземлился в аэропорту Лутон, в сорока километрах от Лондона...

Салих так никогда и не узнал, что неопределенная его судьба решилась случайной фразой дальнего родственника Саддама Хусейна, который сказал ему, что Салих единственный иракский математик, который может со временем составить гордость Ирака...

Еще через год семья воссоединилась. Лиле выдали британскую визу, которой добился обычно

медлительно-неповоротливый Салих. Он встречал семью в аэропорту Хитроу. Увидев дочь, которую он оставил в Москве новорожденной, отец перенес глубокое потрясение. Пухлые ручки, кудряшки, складочки на шее — и так на него похожа! Впервые в жизни он испытал жгучую вспышку небывалой любви и нежности, и маленькая Виктория, воспитанная Лилей в строгой сдержанности, ответила отцу нерассуждающей взаимностью — на всю жизнь.

Салих к этому времени сделал свой докторат, работал в *Nansen College*. Снимал маленькую квартиру неподалеку от работы. Отношения с Салихом у Лили были лучше прежнего: он был ей безмерно благодарен за чудо его жизни — дочь Викторю.

В остальном все было как прежде. Только Салих теперь не сдавал рубашки в прачечную, Лиля сама их стирала и гладила и идеально варила рис. Уже через неделю она чувствовала себя в Лондоне так, как будто здесь родилась. Но ходила теперь не в институт, а на бухгалтерские курсы.

Через девять месяцев она “выносила” сертификат и очень скоро получила работу помощника бухгалтера в том самом колледже, где преподавал Салих.

Вскоре семья сняла квартиру побольше. Дворов здесь не было вообще, и комната у нее теперь была своя, без разгородки, и носила она наконец костюм с блузкой и туфли на каблуках, как планировала в юности. И туфель было сколько хочешь: и белые, и черные, и неопределенного красно-коричневого цвета... И говорила теперь иначе: вместо “Ой, оно мне надо?” — *‘My God, why should I care?’*

Лиля никогда не узнала, что письма от Салиха, которые приходили на ее адрес из Лондона весь последний год в Москве Вера Иванна ранним утром, по дороге на работу, вынимала из почтового ящика и прятала под матрасом. Отдать дочери письма, которые она сама не могла прочитать, было для нее невыносимо. А школьная учительница английского, к которой Вера Иванна прибежала с первым же при-

Людмила Улицкая

шедшим из Лондона письмом, сказала ей, что чужие письма она читать не будет...

Война в Ираке тем временем продолжалась, да и в России происходили какие-то неприятности не то с Венгрией, не то с Чехословакией. В Москву Лиля больше не приезжала. “*Why should I care?*” Стала иностранкой.

БЛАГОСЛОВЕННЫ ТЕ, КОТОРЫЕ...

Тане Гориной

Пожилые сестры Лидия и Нина приехали в опустевший дом в безвестной итальянской деревне разными рейсами, с разных сторон, одна добиралась через Милан, вторая из Генуи. Приглашены они были сюда итальянкой по имени Антонелла, ученицей их покойной матери Александры Викентьевны. Жила Антонелла в Генуе, где и преподавала в университете на кафедре славистики, а этот деревенский дом достался ей по наследству от бездетной тетушки. Послед-

ние десять лет в этом пустующем доме Александра Викентьевна, знаменитый лингвист и исследовательница древних текстов, проводила очень много времени. Антонелла настоятельно просила сестер приехать, чтобы разобрать оставшееся от матери имущество. Сама Антонелла сделать это не решалась из трепетного почтения к памяти своей наставницы.

Антонелла привезла сестер на машине в дом на горе, отперла замок на калитке, провела их к дому, открыла дверь и ушла, сказав, что вернется часам к семи и поведет их ужинать, а сейчас ей надо срочно ехать в университет. Говорила она по-русски очень хорошо, только фразы ее звучали с какой-то непривычной, но милой интонацией.

Сестры остались вдвоем. Последний раз они виделись в сходной ситуации, когда после похорон матери, полгода тому назад, вошли в ее московскую квартиру, заваленную бумагами и книгами.

Теперь они молча сидели на террасе. Дом, чего не было видно с улицы, стоял на гребне

горы, и догадаться было невозможно, что с другой стороны, с террасы, раскроется такой огромный, неохватный глазу вид. Это был глубокий распадок, на дне которого извивался каменистый след, намек на высохшую к этому времени речку. Речка стекала с горы Беука на отроге Апеннин, которые открывались по правую руку, а левее и ниже распахивалось Лигурийское море, утыканное белыми парусами и расположенное бурлящими серебряными следами катеров, отчеркнутое от безлично-голубого неба острым темно-синим горизонтом. В замкнутом промежутке между морем и горами шли две дороги — одна вдоль моря, далеко внизу, и вторая, чуть повыше, стоящая на огромных опорах и уходящая в тоннель. Медленно и беззвучно по ней текли фуры, грузовики и легковые машины.

Сестры не знали, что оба эти шоссе идут вдоль древней римской дороги, превратившейся в паломнический маршрут из Южной Франции в Рим. *Via Aurelia*.

Они сидели, поводили глазами, ошеломленные огромностью и красотой картины, и тя-

жело молчали, неприученные выражать словами ничего более сложного, чем того требовали бытовые потребности.

— Красиво, — наконец произнесла старшая.

Младшая согласно кивнула:

— Да.

Многие годы сестры встречались только первого сентября, в день рождения матери. В ее тесную квартиру, заваленную пыльными книгами, кипами исписанной бумаги и тараканами, набивалось в этот день много народу — коллеги, бывшие ученики, студенты. Это раздражало. Почему эти люди были так привязаны к ней? Она была сухарь, ничего не любила, кроме жукастых букв восточных языков и книжной рухляди, в которой провела всю жизнь, почти не обращая внимания на двух дочерей. Девочки росли: одна под присмотром бабушки, другая — наемных нянек, которые часто менялись, не давая себя полюбить.

Да и что это была за семья! Одна руина. После смерти бабушки Варвары никто уже не скреплял эту женскую семью ни пирожками, ни летними дачными выездами, ни хлопотливым лечением простуд и ангин заваренными травками с гречишным медом.

Даже общий женский разговор о мелких трудностях жизни или рецептах пирога был Александре Викентьевне совершенно чужд. Впрочем, мужские темы — об автомобилях и правительстве — были ученой даме так же не интересны.

Произведя на свет двух дочерей и отдав дань природе, Александра Викентьевна как будто полностью покинула женское поле боя. Была ученой. И сама же любила пересказывать старую шутку: ученая женщина — это как морская свинка: и не морская, и не свинка... Она была ученое существо — писала статьи, книги, выступала в университетах и на конференциях с докладами, слава у нее была на весь ученый мир, в особом секторе человечества, таком же сдвинутом на буквах, как и она сама.

Была даже академиком каких-то иностранных академий.

Нормальные мужчины с полагающимися их полу атрибутами в семье никогда не приживались. У женщин старшего поколения — бабушки Варвары и самой Александры Викентьевны браки были короткими — мужья погибли на войнах. Александра Викентьевна прожила с мужем чуть больше года, похоронка пришла в конце сорок первого. Ей было едва за двадцать, и дочка Лида только что родилась.

Много позже она пережила сокрушительный роман. Роман был недолгим, бурно протекал и бурно закончился, и в память об этой не совсем удачной любовной истории, по недосмотру, появилась на свет дочь Нина. Появление младшей сестры оказалось сильной травмой для старшей Лидии, которой было к тому времени почти восемнадцать, и роман пожилой тридцативосьмилетней матери с бывшим студентом, который по возрасту подошел бы скорее дочке, был невыносим и оскорбителен. За-

быть или переосмыслить этот факт материнской биографии Лидии так и не удалось.

Рождение внебрачного ребенка Лидия восприняла как свой собственный позор. Младшую сестру ей также никогда не удалось полюбить, тем более что она поспешно и рано вышла замуж и уехала к мужу.

В детстве у Нины образ сестры как-то не отпечатался. И бабушка тоже не оставила следа в памяти — она умерла, когда Нине еще не было и года. Нина росла всегда с домработницами, которые менялись с некоторой регулярностью. Именно с одной из домработниц раннего времени и связано самое сильное переживание детства. Мать уехала в командировку в Ленинград, на конференцию, и оставила трехлетнюю девочку на пару дней с новой няней. Новая няня, женщина вида сухого, интеллигентного, с многозначительным именем Анна Аркадьевна, была совсем не похожа на предыдущих деревенских девчонок, бежавших из колхозной жизни в городскую. Она оказалась алкоголичкой, изо всех сил пытающейся побороть свой

недуг. И героическое сопротивление этой Анны Аркадьевны рухнуло в первый же вечер перед лицом буфета, набитого принесенной гостями и недопитой выпивкой. Как прошли следующие три дня, неизвестно. Но вернувшаяся домой ранним утром четвертого дня Александра Викентьевна обнаружила лежащую на полу до потери сознания пьяную интеллигентную няню в луже подсохшей жидкости и посиневшую от крика и обессиленную Нину, сидящую в кровати в обгаженном белье...

Эти три дня отпечатались в ней на долгие годы, а может, и на всю жизнь: она никому не доверяла, была подозрительна и очень одинока.

В то время как младшая сестра переживала этот трехдневный кошмар, старшая, родившая к этому времени собственную дочку, переживала тяжелый разрыв с мужем, который от сладких дружеских выпивок перешел в фазу горького русского пьянства...

Александра Викентьевна старалась не отвлекаться от работы на житейские мелочи: дру-

зья прислали новую домработницу, Ниночку решено было отдать в детский садик, а Лидии было назначено от матери ежемесячное пособие для поддержания пошатнувшейся жизни.

В сущности, сестры были мало знакомы, каждая считала, что другая владеет большей частью материнского внимания и любви. Их взаимная неприязнь с годами только росла, и в дни рождения матери они садились по разные стороны стола, в отдалении от центра, то есть Александры Викентьевны, которая была окружена заслоном из почитателей и учеников.

Они всегда были решительным образом несхожи: крупная плечистая Лидия и маленькая Ниночка на тонких ножках, с воробьиным личиком. Единственное, что было у них общим, — одиночество, причем одиночество старшей усугублялось тем, что единственная ее дочь, горячо любимая Эммочка, умерла в четырнадцать лет от острого лейкоза, оставив мать на всю жизнь в злобном недоумении.

Смерть девяностолетней матери ничего не изменила в отношениях сестер. Однако впер-

вые в жизни они приняли общее решение: обойтись без вмешательства бесконечных материнских поклонников, которые сразу же алчно потребовали отдать им все ее бумаги...

Через полгода они вступили в права наследства — квартира, имущество и сберкнижка с неожиданно значительной суммой. И тут они разошлись в намерениях: Лидия хотела бы продать оставшуюся от матери жилплощадь, а Нина считала, что лучше ее сдавать, а деньги ежемесячно делить пополам. Полгода они вели вязкие телефонные переговоры, но при этом никак не могли решить, что же делать со всем бумажным хламом, туго заполнявшим материнскую квартиру. В этой полнейшей растерянности они впервые почувствовали некоторое единение.

Предложение Антонеллы приехать в Италию отвлекало от тяжелых квартирных забот. Однако, заглянув теперь в итальянский дом, они мгновенно поняли, что столкнулись с той самой проблемой, которую не могли решить в Москве: те же ворохи бумаги, та же пыль.

Имущества, собственно, никакого не было: старые тапочки, халат, два шелковых летних платья. Была такая причуда у матери: носила только шелк — все прочие ткани раздражали кожу...

Они сидели за большим столом, заваленным итальянскими книгами. На тростниковой салфетке стояла чашка с застывшим навеки кофейным осадком, зеленая мутная ваза с остекленевшим цветком, старинная непригодная для прямого употребления лампа и маленькая плошка с камешками, ракушками, какими-то шишечками неизвестных растений, несколькими венецианскими бусинами и монетой в две лиры, давно вышедшей из употребления.

Ко всему этому было страшно прикоснуться.

Последний раз мать вышла из этого дома в конце августа 2009 года. Долетела до Рима, сделала там на коллегии библейского института ошеломивший всех слушателей доклад, в котором исследовала последние слова Христа “или,

или... савахфани”, произнесенные, по ее убеждению, не на арамейском, как считали, языке, а на галилейском диалекте, который не все понимали и так до сих пор не поняли... Потом тот же самый доклад прочитала в библейском обществе в Москве, после чего справила свой последний, девяностый, день рождения, а через два дня упала на ровном месте, в московской квартире, и сломала шейку бедра. Ее отвезли в Боткинскую больницу, где работала знакомая врачиха, но там операцию делать отказались и, продержав две недели, вернули домой в качестве полностью лежачего больного.

Сестры, готовые ухаживать за матерью, обнаружили, что поклонники и ученики Александры Викентьевны уже наняли ей круглосуточную сиделку, в дом приходила уборщица, с которой Александра Викентьевна свирепо ругалась, когда та приподнимала влажную тряпку над рабочим столом, и каждый день помимо сиделки приходили какие-то ее сотрудницы, сидели с ней, даже, можно сказать с натяжкой, работали, изредка в ее доме устра-

ивали семинары, и Лидия с Ниной, слегка обиженные, устранились. Звонили через день, спрашивали, не нужно ли чего, и мать вежливо отказывалась от помощи: все у нее было в порядке. Как всегда. Все места около матери оказались заняты, а они ни при чем.

Через девять месяцев, когда жизнь Александры Викентьевны была налажена самым идеальным образом, случился инсульт, ее повезли все в ту же Боткинскую больницу, где она через несколько часов и умерла, не приходя в сознание.

...Стоял запоздалый май, больше похожий на апрель. Несколько смиренных деревьев, росших у входа в морг, едва обрастали листочками. В большом зале перед затворенными дверями собралась огромная толпа людей, которые пришли попрощаться с Александрой Викентьевной. Были даже какие-то иностранцы, пожилые дамы и господа посольского вида, один явно пастор. Все сгрудились возле приземисто-

го некрасивого мужчины в очках, который возглавлял кафедру после ухода Александры Викентьевны на пенсию. Сестры жались друг к другу, чувствовали себя здесь совершенно посторонними.

Потом распорядительница раскрыла двери в соседнее помещение. Там на столе стоял открытый гроб, а возле него хлопотал старый священник в бархатной шапке — надевал епитрахиль и поручи. Двое его помощников в черном помогали управляться с золотой сбруей.

Сестры переглянулись: верующая? Мать была верующая?

Народ столпился около гроба, и даже не все смогли войти в это длинное помещение. Распорядительница отыскала сестер и поставила у изголовья. Мать была совершенно на себя не похожа: одутловатое в последние годы лицо подтянулось, сузился нос, проступила горбинка, которой никогда не было, а губы были растянуты в подобие насмешливой улыбки. Голова была туго обернута в черный шелковый шарф, такой большой, что покрывал все тело,

и никакой одежды видно не было, только скрещенные узловатые кисти рук лежали поверх черной ткани...

Было отпевание, потом прощание, потом автобус с распорядительницей увез куда-то гроб, и все пошли в кафе неподалеку от больницы морга — там была скромная еда и возвышенно-восторженные разговоры о покойной... Вот и все.

Сестры ушли. Сели в темном проходном сквере по дороге к метро “Динамо” и заговорили первый раз в жизни о том, что держали в себе.

— Она меня никогда не любила...

— И меня.

— Она была ужасная мать.

— Вообще не мать.

— Она никого не любила, только свои буквы...

— Я пошла на бухгалтерские курсы... Там все же цифры... а буквы ее я ненавидела.

— Так я ведь тоже в программисты подалась. Я это ее образование всю жизнь ненавижу.

— Нет, не могу этого сказать. Я много лет на нее злилась, что она нам приличного образования не дала. Да ей не до нас было. Когда я поняла, поздно было.

— Да. Она жизни наши загубила...

— Загубила? Не знаю...

На том и расстались...

...Лидия придвинула к себе плоску с ракушками и камешками, стала перебирать их.

— Странно, что она собирала...

— Да, не похоже... как-то...

Вторая комната была маленькая спальня. Постель была небрежно убрана, как будто хозяйка собиралась скоро вернуться. И маленький рабочий стол, не покрытый ворохом бумаги, а чистый. Только несколько сцепленных скрепкой страниц, и сверху какая-то листовка по-итальянски. На ней было написано: "*Nostra Signora della Terza età*". Было похоже на какую-то мо-

литву. Дальше шел русский текст, видимо, перевод.

— Ты думаешь, она все же была верующая? — спросила Нина сестру, разглядывая страницы.

— Бабушка Варвара точно. А мать — не знаю. Когда-то партийная была... Хотя — отпевание это. Наверное, она так распорядилась...

Лидия надела очки. Почерк был разборчивый, без наклона, даже со склонностью к печатной графике — крупные прямые буквы, никакой извилистости строк, слегка увеличенные пробелы между строками и словами, куда прекрасно вплетались бы авторские правки. Но здесь никакой правки не было — чистый текст, который выглядел окончательно и даже торжественно.

Начала читать...

— *Благословенны те, кто смотрят на меня с участием...*

— Мне кажется, что все эти ее... на нее смотрели просто с обожанием, — заметила Нина.

— Нин, это же она не про себя, это просто молитва такая, — заметила Лида и продолжала:

— Благословенны те, кто принаавливает свой шаг к моему, усталому и замедленному.

— Какой шаг, — пробурчала Нина, — она же лежала чуть ли не год.

— Не понимаешь, что ли, она же писала это до того, как слегла...

— Благословенны те, кто громко говорят в мое оглохшее ухо...

Нина, перебивавшая на столе камушки и шишки, замерла. Потом спросила тихо:

— Лида, это она про себя, что ли? Ведь правда, она последние годы плохо слышала.

Лидия, не поднимая головы, ответила:

— Нет, конечно, это вообще... — и продолжала все медленнее:

— *Благословенны те, кто ласково сжимают мои трясущиеся руки...*

Благословенны те, кто с интересом слушают мои рассказы о давно ушедшей молодости...

И остановилась:

— Нина, а ты вспоминаешь про детство? И вообще, что мы вспоминаем? Я вспоминаю, как с бабушкой в Крым ездили в детстве...

— Это она только с тобой... Меня никто в Крым не возил. В пионерский лагерь меня отправляли.

— Ну да, мама вообще отпусков никогда не брала. Как стали выпускать, ездила... В Рим, в Иерусалим... и никогда мне ничего не рассказывала.

— А мне вообще никто ничего не рассказывал — ни мама, ни ты... — пожала плечами Нина. — О чем все это? О чем ты читаешь-то? К чему это?

— Да подожди, Нина. Я поняла. Она же только перевод делала, писали-то итальянцы

какие-то, вот видишь, по-итальянски написано, и тоже десять пунктов.

И продолжала все медленнее:

— *Благословенны те, кто понимают мою жажду общения...*

— Господи, да какая жажда? — перебила Нина. — Она со всеми этими общалась по делу только, она только сама себя и занимала, и никто ее не интересовал...

— Да помолчи, Нин, мы на самом деле этого не знаем. Это нами она не интересовалась, мы ей совершенно не интересны были, а другие-то, с которыми она разговаривала, может, интересны... всю жизнь вокруг нее толпились...

— *Благословенны те, кто дарят мне свое драгоценное время...*

— Чем ты больше читаешь, тем у меня все больше злости, — а нам она свое драгоценное время никогда не дарила! Бабушка, может, тебе

и дарила! А когда бабушка умерла, только детский сад мне дарил... драгоценное время.

Лида отмахнулась:

— Да не бурчи ты! Ты просто не понимаешь. Я все же лучше понимаю, сама уже старуха, мне скоро семьдесят!

— *Благословенны те, кто помнят о моем одиночестве...*

— Лида! Не могу это слушать! Ну вот насколько это не про нее, это про нас с тобой. Это у нас одиночество благодаря ей...

— Нин, глупости не говори. Я из дому ушла, мне девятнадцати не было, а ты с ней еще сколько лет прожила, пока дом на Остоженке не расселили. Не перебивай!

— Да зло берет, Лида! Просто зло берет!

— Послушай, это просто чужая молитва, не она ее писала. Только перевод...

— *Благословенны те, кто возле меня в минуты моих страданий...*

— Но она же не хотела нас видеть, — заплакала неожиданно для себя самой Нина. — Сама не хотела!

— Нас там не было... это правда, — тихо сказала Лида. И читала совсем уж медленно, чуть ли не по складам:

— Благословенны те, кто меня радует в последние дни моей жизни...

Благословен тот, кто будет держать меня за руку в минуту моего ухода...

Лида аккуратно положила бумажки на то место, где они прежде лежали, уронила лицо в собранные широкой горстью ладони. И заплакала...

— О Господи, — прошептала Нина, — это же про нас...

Они плакали, сидя за маленьким деревянным столом плотницкой работы.

— А кто ее за руку держал... мы и не узнаем...

— Но ты же ее знаешь, мы ей и нужны не были...

— Вот теперь я не знаю уж... с чего она это переводила на русский... Может, для нас...

— Никогда не узнаем.

Лида положила большую тяжелую руку на щедедушное Нинино плечо.

— Что мы наделали, Нина... Прости меня...

— Ты меня прости, Лидочка.

Они улетали в Москву, взяв с собой записные книжки матери и перевод молитвы пожилых, про которую они узнали от Антонеллы, — это она в последний приезд Александры Викентьевны отвозила ее в церковь Сан-Донато, где стояла скульптура Божьей Матери Стариков — *Nostra Signora della Terza età*. Может быть, так правильнее переводить — не “пожилых”, а “стариков”? И там висела на стене эта самая молитва... И еще они увозили фарфоровую плошку, в которой лежали ракушки, камешки и бусины, которые делили с их матерью ее одиночество...

Людмила Улицкая

В самолете они подняли разделительный подлокотник между креслами, тщедушным плечом и всем своим воробьиным лицом Нина уткнулась сбоку в большую мягкую грудь сестры. И обе заснули. Одиночество их оставило.

О ТЕЛЕ ДУШИ

НИ ОДИН НЕ ВЫУЧЕН УРОК...

Вместо предисловия

Конец октября. Бульвар. Скамья.
Восточнее, под кромкой гор, Генуэзский порт,
западнее, если хорош прищур, *Côte d'Azur*.
Шелушишь в седой голове каждый факт,
который был понят и принят не так,
как надо бы сейчас.
Все лживо, криво, наперекосяк.
Кретинка! Дурак! *I'm fucked!*
Ни один не выучен урок.
Но как же перло, и до сих пор прет.

Людмила Улицкая

Не за заслуги, за так...
Заканчивается антракт,
начинается третий акт.
Все прожито — первый синяк и последний рак,
все утекло — мёд из сот, гной из ран,
Евангелие, Библия, Коран,
даже буддизма безлюдный рай.
Въезжаю в заключительный эпизод,
и не важно, сладок или кисл,
он отливается в последний смысл.
Хотелось бы фрактальности, но ее нет.
Есть только фронтальность, как этот стих.
Нет на подмостках поэта. Но зал затих.
Падает занавес. Черный кабинет.
Есть ли там кто? Или никого нет?

ТУШИ, ТУШИ, ГДЕ ИХ ДУШИ...

Нельзя сказать, что Женя стремилась угнаться за модой, скорее, она улавливала общий поток, но с некоторым опережением общественного вкуса. Пока все прогрессивные девицы добывали себе туфли на шпильках, Женя купила в комиссионке вполне пешеходные туфли рыжей замши, на полупрозрачной каучуковой подошве, без шнурков, с грубой прошивкой по верху. Слова “мокасины” тогда еще не знали, и ка-

ким ветром занесло в комиссионку это американское изделие индейского происхождения, осталось неизвестным. Но никакие шпильки не были нужны Жене в тот год, а нужна была обувь пешеходная — на работу ходить. В конце шестидесятого года она, не добрав всего один балл на вступительных экзаменах в университет, поступила работать в биологическую лабораторию — набираться жизненного и профессионального опыта, а заодно и получать рабочий стаж, который сильно облегчил бы поступление на биофак в будущем.

В лаборатории Жене очень нравилось... и она на удивление быстро освоилась с биноклем, микротомом, сверкающими от чистоты предметными стеклами. Лаборатория занималась гормонами, и это оказалось, как волшебная сказка: днем крохотная желёзка, которую исследовала ее руководительница, вырабатывала один гормон, ночью другой, и зависело это от света, просто от солнечного света, который заглядывает утром в окошко и дает сигнал “стоп” мелатонину, “вперед” — серотонину! И са-

мое чудесное — молекулы, вот они, представлены в виде формулы, и можно их синтезировать. Словом, чудо из чудес эта наука биохимия...

В осенний слякотный день начальница послала Женю на мясокомбинат собрать нужный материал — свиную железу эпифиз. Начальница нарисовала схему мозга, пометила стрелочкой, как добираться до этой укрытой железы, поднявшись по стволу мозга и приподняв мозжечок, залезть повыше и выдрать пинцетом этот самый эпифиз, который будет органом непарным, так что его трудно с чем-нибудь спутать. Жене выдана была баночка с формалином, перчатки, скальпель и пинцет, а также разрешение на вход в мясокомбинат, куда просто так с улицы войти было невозможно. И она, надев новые рыжие мокасины, отправилась на край Москвы, с двумя пересадками в метро, потом на автобусе. Она гордилась таким ответственным заданием, но и несколько беспокоилась, сможет ли выполнить.

Когда вышла из автобуса, ощутила легкую вонь в воздухе, которая все возрастала по мере

приближения к железным воротам. Прошла через проходную, вахтерша швырнула толстой рукой в сторону цеха — туда иди!

Дальше уже никто никаких пропусков с нее не спрашивал, и она вошла в высоченное огромное помещение, довольно безлюдное, с замершим посредине конвейером. Скверный запах она уже почти не ощущала, потому что устройство человека таково, что он быстро ко всему привыкает.

Недалеко от входа возвышалось странное сооружение — высокий деревянный помост, на котором стоял голый по пояс мужик с повязанной платком головой. Скучал. Народу никакого не было, спросить, где разделочный цех, не у кого. Пока она размышляла, куда идти, закрипели какие-то железяки, заработала невидимая машина, и тут она заметила, что труба перед мужиком задвигалась и появились какие-то люди, устремившиеся вглубь этого сарая. Не успела Женя сообразить, что это за странный механизм, как по трубе въехала подвешенная за задние ноги свинья, а за ней с ин-

тервалом метров в пять вторая, третья... Первая подъехала к мужику, он приосанился, принял боевую позу, и тут Женя заметила, что в руках у него огромный тесак. Она уже догадалась, что сейчас произойдет. И это произошло. Он коротким экономным движением ударил свинью в горло, и сразу же хлынула широкая струя крови. Она хлестала вниз, сначала рывками, а потом равномерно, все уменьшаясь.

Женя глубоко вдохнула смрадный воздух — и тут на нее напал столбняк. Выдохнуть она не могла — произошла полная остановка жизни. Все ее существо отказывалось принимать этот ужас. Содрогающаяся свинья отъехала. По ее передним ногам проходили мелкие судороги. Женя выдохнула. Опустила взгляд. И увидела проложенный внизу желоб, по которому еще стекала кровь. Тут к помосту подъехала вторая свинья, и мужик нанес ей такой же быстрый удар в горло...

Картина эта была потрясающая — точностью и спортивностью и еще тем, что никаких душераздирающих звуков свиньи не издавали.

Только предсмертные судороги и скрип несмазанных механизмов.

Надо было уходить, но она все не могла пошевелиться. Да, да — эпифизы... И Женя пошла вдоль двигающейся трубы, по которой проплывали уже не свиньи, а туши, и бормотала про себя: “Туши, туши, где их души...” Она была филологически чувствительной девушкой и последние школьные годы колебалась между филфаком и биофаком.

И тут услышала новый звук — звякающий удар и шипение. Это открылись корытообразные створки печи для обжига туш. Грязно-серое мертвое тело въезжало в печь, вспыхивало синее языкастое пламя, и через несколько минут появлялось нечто прозрачно-розовое, почти нарядное и проплывало вперед, покачиваясь на мощных черных крюках.

Дальше шла голая технология, совершающаяся на конвейере, где туши принимали горизонтальное положение и проезжали мимо женщин в халатах, каждая из которых производила некоторую целесообразную процедуру — вы-

нимала из распахнутой утробы кишечника, печень, легкие, сердце, и облегченное — что, — думала Женя, — тело, труп, мертвое животное или уже мясо? — бывшее существо ехало дальше, к той конечной точке, где и было Женино рабочее место.

Она встала у стола, на ответвлении конвейера, и перед ней медленно проплывали разрубленные надвое свиные головы. Она натянула перчатки и сосредоточилась. Эпифиз извлечь оказалось совсем просто. С того момента, как она достала первый розоватый мешочек, недавно производивший веселящий душу серотонин и снотворный мелатонин, магия работы освободила ее от пережитого смятения. Она быстро подцепляла пинцетом объект исследования, ловко перерезала нежную связку, на которой он держался, и опускала в баночку с формалином. Через два часа баночка была полна. Женя положила запакрованную баночку в сумку, скомкала резиновые перчатки, чтобы выбросить в ближайшую урну, и пошла прочь.

Женя чавкала по смрадной жиже, по щиколотку покрывающей пол цеха. Замшевые ржавого цвета мокасины потемнели, но насквозь не промокли. Она искала глазами урну, чтобы бросить ужасные, скользкие от смятого мозга перчатки, и увидела ее почти возле выхода. На полу возле урны лежал надкусанный кусочек поджаренного мяса. Выброшенный... недоеденный... Кто-то из рабочих решил на месте перекусить, отсек лопотом филейной части, пожарил, но почему-то выбросил...

Женю вывернуло — очень удачно, прямо в раскрытую горловину урны. Кислым и постным. Утренней овсянкой, к которой ее приучили с детства...

На выходе, в проходной, ее обыскали. Она сначала даже не поняла, что происходит. Двое мужиков проверили сумку, а потом тетка предложила ей зайти в каморку и велела снять плащ, поднять свитер и прохлопала ее по бокам и животу. Это было последним испытанием этого короткого рабочего дня.

О теле души

Собственно, все. Американские мокасины были испорчены, даже после долгого мытья они никогда не обрели своего радостного цвета сосновой коры, стали скучно-бурыми. Мяса Женя не ела больше никогда. И биологом стать как-то не получилось.

AQUA ALLEGORIA

Елене Костюкович

Соня Солодова, средних лет сухощавая женщина с ясными злыми глазами, уловила смысл жизни после развода с мужем. Смысл оказался в еде, вернее, в питании. Но открылось это постепенно. Володя-то ушел неожиданным рывком, после десяти лет тихого монотонного брака собрал вдруг вещи, сказал, что уходит, — и съехал. Соня поначалу впала в бесслезный столбняк, потом принялась за уборку. Первым делом отмыла начисто кухню, чтобы никакого жира, вечно летящего с раскаленных сковород во все

стороны, больше не было. Володя каждый день ел жареное мясо, особенно любил свинину. Жарил ее сам, на старой чугунной сковороде, на разогретом сливочном масле. Соню к этому делу не допускал.

За двое суток прилежного оттирания запах кухонной жарехи сменился абстрактным запахом моющего средства, к еде никакого отношения не имевшим... Из кухни Соня распространилась с уборкой на всю полуторакомнатную квартиру. Убирала подробно, изгоняя следы мужа и запахи, с ним связанные, — выбросила несколько книг по металловедению и пачку инструкций к каким-то домашним приборам, а также его старые рубашки, хотя и выстиранные, но хранившие дух табака и пережаренного мяса. Выбросила даже его зимнюю шапку, выпавшую из шкафа. “Чтоб следа твоего не было!” — этого Соня не думала, а скорее душой и телом изъясляла.

Страстно скребла каждую половицу, отдраила окна, залезла во все углы. А когда произвела эту полную санитарную обработку, распы-

лила по квартире полфлакона французских духов *Aqua Allegoria*, которые выиграла в новогодней лотерее на службе, когда еще работала. Запахло счастьем и догадкой, что обещания, в детстве как будто данные, а потом отнятые, снова забрезжили и просто повисли в воздухе. Запах этот приходил в квартиру извне и имел родственное отношение к духам *Aqua Allegoria*.

Первую неделю Соня ничего не ела — пила чай, догрызала утомившиеся от лежки яблоки с садового участка двоюродной сестры Нели, а когда вспомнила вдруг, что давно не ела толковой еды, сварила гречневую кашу из крупы, что хранилась в отмытом кухонном шкафу. Когда Соня доела последнюю ложку безвкусной каши, которую и посолить забыла, приехала Неля, не с пустыми руками, а с яблоками и бруском самодельного мармелада.

Жизнь пожилой Нели вся проистекала на шести сотках садового участка, превращенного ее безумным трудолюбием в плантацию, родящую овощи, фрукты, травы и цветы, а убогая будка была хранилищем пищевых драгоцен-

ностей. Очень эффективное у нее было хозяйство... Год тот был яблочный, и Неля уже наполнила свои стеллажи шеренгами одномастных банок, снабженных этикетками, на которых значился год и грядка, а также наименование продукта и номер яблони... Яблонь было четыре — три были сорта мельба, с красным веселым штришком, а четвертая антоновка, самое позднее яблоко, прекраснейшее снаружи и внутри. Полки были забиты до отказа добрыми заготовками, а яблоки все не кончались, так что Неля делилась излишками с Соней и со своей бывшей начальницей, приличной женщиной восточного происхождения.

Сели пить чай. Неля рассказала про мелочные-яблочные страдания, а Соня не сказала ни слова о главном событии, уходе мужа. Пышная и складчатая Неля, отрезав четверть привезенного мармеладового бруска и положив себе на блюдец, привычно позавидовала:

— А ты, Соня, я смотрю, безо всякой диеты худеешь... А я в том году перемучилась с диетой этого Дюкана, похудела на три килограм-

ма, а потом плюнула и пять набрала! Ни пирожна, ни конфетки, одно мясо, белки эти, скукота какая-то, и весь день только об одном думаешь — чего бы вкусенького съесть... А ты безо всякой диеты всю жизнь тощая... Ты-то чего ешь?

Соня засмеялась: “Яблоки твои всю неделю ела... кашу вот сварила...”

О стройности Соня сроду и не думала, ела что было, что под руку попадало и чтобы в очереди особо не стоять. Рыбу Соня не любила. Даже брезговала. Жирное все казалось ей несъедобным — как есть землю из цветочного горшка или коричневое хозяйственное мыло. А мясо само ушло из ее дома вместе с Володей. В общем, несерьезно она питалась.

После Нелиного ухода Соня поняла, что воздух в квартире делается все лучше не сам собой, а от яблочного присутствия. И еще поняла, что никакой другой еды и не надо, вот так и хорошо. Доедала из чувства долга, что было из крупяных запасов, но чувствовала, что каши только радость портят и утяжеляют тело. Одни только яблоки не нарушали счастливой легко-

сти. Когда Нелины яблоки стали подходить к концу, Соня поняла, что идти в гастроном ей не хочется. Там на нижнем этаже были вина в бутылках, бакалея и всякая хозяйственная мелочь. Все ненужное. На втором — мясо-рыба. Как она представила себе эти прилавки, почувствовала, как дохнуло на нее вражеское присутствие. И не пошла никуда... Оставалось еще четыре яблока, и она резала их на тонкие ломтики, чтобы хватило на подольше...

“Как же я столько лет жила с этим мясом?” — удивлялась про себя Соня, и думала она в этот момент только о том мясе, что лежало всего несколько месяцев тому назад в холодильнике, а вовсе не о мужчине, который его приносил в дом...

Ела Соня яблочные ломтики помалу и по долгу. Сидела на кухне, лицом к окну, на месте, где прежде сидел Володя, и глаз ее радовался листве, которая всегда самой яркой и притягательной для глаза была как раз против окон ее третьего этажа. Правда, картина эта уже слегка зажелтела, стала лысеть.

Приехала Неля, привезла четвертые, как она говорила, яблоки — антоновку. Две полные сумки привезла — Неля с молодости была здорова таскать, Соне такой вес не под силу был. Соня погладила тонкими пальцами антоновские яблоки и подарила двоюродной сестре бабушкину гранатовую брошку, и Неля была довольна справедливостью: бабушка-то у них была равно общая, но брошка круглая гранатовая перешла к дочери, а не к сыну, и потому досталась Соне, хотя бабушкину фамилию носила отродясь Неля, и драгоценность, будучи фамильной, должна бы, по Нелиному пониманию, в ее сторону пойти. Счастливая Неля ушла с круглой брошкой, ценность которой сильно преувеличивала. Соня втянула воздух и поняла, что антоновский дух усиливает и даже украшает почти выветрившийся запах *Aqua Allegoria*.

Антоновские яблоки, полежав завернутыми в бумагу, тронулись в желтую сторону. Внутренность же их наливалась медленно-прекрасным и сонным вкусом. Еще не все яблоки

закончились, когда за окнами лег снег, и вместо березовой зелени через голые веточки проглядывал соседский дом. Есть Соне хотелось все меньше. Хотелось спать. И пить. Только не воду она пила, а потягивала через трубочку разведенный яблочный сок, тоже Нелин, самодельный. На сахар Неля была жадновата, зато умела так хорошо стерилизовать банки, что сок не прокисал до весны. У всех соседей забраживал, а у нее никогда.

Сонливость Сонины не проходила. Наверное, от запаха, — полагала Соня, замечая, что воздух в ее квартире густел, наливаясь мощным неземным запахом одинокого счастья, в котором не было и тени потребности разделить его с другим человеком. Даже выплывала из глубины мысль: хорошо, что ребенок у меня не получился, он бы требовал движения и портил воздух. А про Володю вообще не вспоминала.

Соня положила на постель красивое новое белье и слегла. Вставала, чтобы соку в стаканчик подлить. Ходила все меньше. Иногда подумывала — а что же будет, когда сок в банке кон-

чится... но он не кончился, даже еще оставался, когда случилось странное явление: там, где по телу росли мелкие тонкие волосики и еле заметный пух, пошли вдруг в рост как будто тончайшие бесцветные ниточки, шелковистые, приятные — и на руках, и на ногах, и она обматывала их вокруг себя, чтобы выглядело все аккуратно. Так она сучила руками-ногами, пока были силы. А отрезать эти нежные волосики ей не хотелось...

Сил было все меньше, есть не хотелось уже давно, а теперь и сок как будто потерял привлекательность. Одолевал сон. Она спала все больше и заснула в конце февраля окончательно. Лежала как куколка, вся опечатанная тонкими волосками своего родного естественного цвета — русого, с красивым пепельным оттенком. А квартира была наполнена благоуханием, которое шло не от оставшихся в коробке антоновских яблок, а от самой Сони. Но этого она уже не чувствовала.

Сестра Неля звонила ей время от времени, но все дома не заставала. Долго собиралась.

А когда собралась и приехала, то звонила в дверь понапрасну: Сони дома не было. Неля немного даже осерчала — уехала, может, куда, так позвонила бы по телефону. Не по-родственному так. Но плохая мысль все же запала в голову.

Сорок дней пролежала на Сониной постели русая волосяная куколка. А потом треснула снизу доверху, и вылезла из этой волосяной кожуры мокрая бабочка с ясными зелеными глазами, из множества фасеток составленными. Бабочка сохла долго, часа три, а потом раскрыла подсохшие крылья, и некому было восхищаться.

Поначалу прозрачные крылышки стали наливаться нежным цветом. Чешуйки-то были бесцветными, но по таинственному оптическому закону свет из окна преломлялся так, что они засияли зеленовато-голубым. По верху проступили оранжеватые пятнышки и полосы, и лишь энтомолог заподозрил бы в этом гигантском насекомом родство с яблочной листоверткой. Бабочка взмахнула всеми четырьмя

крылышками, поднялась вверх, совершила прощальный круг под низким потолком и выпорхнула в открытую форточку.

Еще через неделю приехала встревоженная Неля, долго звонила в дверь, потом сунулась к соседям, но те ничего не знали про Соню. Одна шершавая лицом старуха удивилась: так вроде она давно уж куда-то уехала... Неля побежала в милицию. Сначала пришел участковый, долго стучал. Вызвал МЧС, взломали дверь. Трупа, который предполагали найти, не обнаружили. Единственные живые существа были мухи — они успели вывестись в яблочной гнили, в которую превратились два последних антоновских яблока. Мух была темная дрожащая туча. И всё. На постели лежали какие-то странные тряпки вроде шерстяных обносков.

Паспорт лежал в сумочке. В паспорте была фотография, а других фотографий Софьи Сергеевны Солодовой в доме не нашли. С паспортной фотографии сделали снимок, поместили его на объявлении о пропаже и внесли Соню в список пропавших в этом году людей. Их,

О теле души

правда, никто особенно не искал, но объявления расклеили на вокзалах и в других людных местах.

А Соня поселилась в непростом месте: вокруг нее порхали такие же, как она, бабочки, и другие, покрупнее и поярче. И некоторых она узнавала. Одна была определенно ее первая школьная учительница Маргарита Михайловна — она была крупная, похожая на крапивницу, коричнево-пестрая, летала важно и медленно, не совершая никаких легкомысленных порханий. Воздух был легкий и веселый, а сильный фруктовый дух был крепким и меняющимся от яблочного к персиковому, от персикового к земляничному.

Никаких кафкианских насекомых и в помине не было.

ВДВОЕМ

Дверь тонко и длинно скрипнула. Валентин Иванович ждал сквозь сон этого звука. Не открывая глаз, он уже видел всю ее — маленькую, молодую, с зеленой лентой в блекло-рыжих волосах, и даже учуял ее запах — сладковатый, с оттенком легкого пота и отдающего хвоей одеколлона. Она говорила, что кожа ее терпеть не может воды, мылась редко, предпочитая по утрам одеколоновое обтирание.

Она очень медленно, как будто на ощупь шла к его постели, а он, все еще не открывая глаз, чувствовал ее приближение. Она надвигалась на него как облако, а он смиренно ждал, когда это облако его накроет. Первая, всегда одинаковая часть свидания на этом заканчивалась, а дальше начиналось разнообразие, потому что в каждой встрече была исходящая от нее новизна. Он и глаз не открывал, стараясь угадать, каким будет ее первое прикосновение.

На этот раз кончики пальцев прикоснулись к мочкам ушей, потискали их и нырнули в самую глубину уха. Блаженство наполнило Валентина Ивановича до самых краев, он улыбнулся и открыл глаза. Легкая, почти невесомая, она лежала, зажав его уши пальцами, и тихо дула “в душку” — так называла она ямку под очевидным отростком грудины.

Лица ее не было видно, только волосы из-под зеленой ленты. Он осторожно потянул скользкий шелк, лента сползла, он запустил пальцы в пружинистые плотные кудри. Даже волосы ее обладали отзывчивостью. И Вален-

тин Иванович знал, что отзывчивость ее тела была гениальной и каждая отдельная часть умела разговаривать: ее детские пальцы с короткими ногтями — с его огрубевшими от старости грабками, рот, зубы, язык, живот и все, что в глубине, вело взаимный разговор, и разговор этот был сладостный. И начинался каждый раз как будто заново: сначала осторожно, неуверенно, потом делался все более оживленным, каждый раз с какими-то новыми сведениями, сообщениями, и телесный этот шепот становился все содержательнее. И все менее переводим на язык человеческий...

Тела их заговорили даже раньше, чем они узнали имена друг друга. Валентин Иванович, дважды ко времени знакомства женатый, любитель свежих отношений и убежденный враг верности, тридцать лет тому назад привычно зажал новую лаборантку в предбаннике лаборатории, ожидая легкого сопротивления и быстрой победы. Но никакого притворного сопротивления на его довольно грубый зажим не последовало. Ответ ее тела был началом того

самого разговора, который они вели непрерывно уже тридцать лет. И обе его жены, первая, Анастасия, актриса с кошачьей миловидностью и удачной карьерой, и вторая, Лена, бывшая его ученица, потом ассистентка, умная и почти безукоризненная во всех своих поступках, мать его единственного сына, и все его мимолетные подружки утратили для него всякую привлекательность, хотя в первый год этой новой связи он еще не вполне понимал, что тело его и душа обречены на моногамию, которую он презирал с юности. Понял постепенно.

Он знал приблизительно, что сейчас будет происходить: сначала заживет, задышит вся поверхность тела, вся кожа возрадуется, каждый волосок на теле затрепещет в ответ на прикосновение Гули.

Да, Гуля ее звали, по-настоящему Айгуль, татарская девочка, но не от тех ханских всадников, что черны, узкоглазы и кривоноги, а от тех, которые хоть и зовутся татарами, но пришли из других краев, светлоглазые, легконогие, урало-алтайские...

Валентин Иванович давно уже не торопил этот долгий разговор. Это в молодые годы завершение разговора было самым важным во встрече их тел, и давно уже Валентин Иванович не спешил, а, напротив, медлил, зная все наизусть, но всякий раз восхищаясь новизной происходящего.

Расплавилась кожа, стала проницаемой, как мокрая бумага, и вся поверхность уходила как будто внутрь, и разговор продолжался неопи-сваемым, совсем неопикуемым образом. Гу-ля ласкала его легкие, и он дышал ей навстречу, ловя ответные воздушные токи. Ему казалось, что она гладила даже его печень, ее правую долю, вызывая приятную щекотку, и утомлен-ная паренхима приободрялась...

Ласки ее были неторопливы, подробны и давали телесное блаженство и духовное от-дохновение, исцеление от той тяготы, в кото-рой он жил последние три года. Он шел ей на-встречу и был уже в ней, а она в нем, и объятие их было плотным и влажным, и близилось, и уже наступало это чувство взаимного раство-

рения, когда граница между телами полностью исчезает, и в знак этого предельного торжества плоти, отказавшейся от себя и полностью отдавшей себя другому, под грохот толкающейся в сосудах крови, навстречу друг другу рванулись два чистейших потока — один из священной вязкой жидкости, содержащей начало жизни, и второй, вода приветствия, приглашения и принятия.

Валентин Иванович зажимал в пальцах мятую зеленую ленту...

На часах половина четвертого. Пустота. Сиделка уходит в половине девятого. Надо немного поспать. Встать, преодолевая постоянную усталость. Помыться, выпить чаю. Принять вахту.

Он давно научился всему, что умела так ловко делать сиделка: поворачивать с боку на бок, менять простыни, не беспокоя лежащее тело, снимать мокрый памперс и надевать новый. Она была легкой, как девочка, такая высохшая птичка с острым клювиком, с поблекшими остатками рыже-седых волос.

Людмила Улицкая

Кровать была удобная, подход со всех сторон, но Валентин Иванович садился на стул в ногах у жены, прикрывал глаза и представлял сегодняшнюю ночь во всех подробностях, во всей последовательности умных и счастливых прикосновений. И силился вспомнить, о чем говорила ему Гуля.

ЧЕЛОВЕК В ГОРНОМ ПЕЙЗАЖЕ

Лике Нуткевич

Мать работала в заводууправлении. Должность ее называлась “Валентина” — то курьер, то уборщица, то в магазин сбегать. Другого ничего не умела. Но на побегушках была полезна, иначе не держали бы. Иногда просто сидела и ждала распоряжения от настоящей секретарши. Образования у Валентины было шесть классов, седьмого не потянула. Она была из детдомовских, робкая и наглая. Мужа никакого у нее не было. И любовника не было.

Только сын Толик и комната в коммунальной квартире.

Толик сидел дома. В детском саду его держать не стали, ему там было страшно, он плакал и портил всем настроение.

Утром Валентина уходила на работу и запирала его на ключ наедине с горшком. В обед приходила соседка Семеновна, отпирала дверь и давала ему кастрюльку супа. Хлеб был на полке, ешь сколько хочешь. Он медленно и долго ел. В остальное время дня смотрел в окно. До темноты. Гулять во двор мать выпускала его по воскресеньям, но он этих прогулок не любил, боялся дворовых ребят. Они над ним смеялись, дразнили, иногда колотили. Он их всех знал из окна третьего этажа. Сверху они иногда ему нравились — как в лапту играли, как бегали, как ножички в землю втыкали.

Большую часть времени Толик рассматривал из окна липу с большим вороньим гнездом в развилке между двумя толстыми ветками, как раз на уровне их третьего этажа. Самое интересное время начиналось в конце марта, когда

прилетали хозяева гнезда, пара ворон. Он уже третий год за ними наблюдал. Сначала, поплясав в воздухе, они занимались починкой растрепавшегося за зиму от ветра и снега гнезда, таскали веточки, ковыряли гнездо своими клювами, махали крыльями. “Рук им не хватает, — думал Толик. — С руками им было бы полегче гнездо починять. А были бы руки — как летать?” Толик приседал, махал изо всей силы руками — нет, без крыльев не полетишь. “А руки нужнее”, — догадывался Толя...

Вороны, починив гнездо, принимались выводить птенцов: ворона-мать сидела на яйцах, которых видно не было, но он знал, что она посидит, посидит, а потом выведутся птенцы. Вторая ворона кормила первую, которая сидела на гнезде, это было самое интересное, он все ждал момента, когда вторая прилетит, сядет на край гнезда, а иногда на лету из клюва в клюв передаст еду. Часами он смотрел в окно, чтобы не пропустить этой минуты. Даже секунды... Оп! — и схватила! Жаль, не было видно, что там за еду приносила ворона-отец. Потом птенцы выво-

дились, целиком они не показывались, видны были только их распахнутые клювы, вынырывающие из гнезда, когда подлетали родители с кормежкой. Толик не отрывался от окна, смотрел, как на экран телевизора, — вот птенцы вылезают из гнезда, сначала скачут по соседним веткам, потом научаются летать и все улетают.

Становилось скучно. Рама окна, за которой происходила птичья жизнь, переставала занимать Толика, и в зимнее время у него было другое занятие, щепочное. В последний предшкольный год в комнате поставили батарею, а до того отопление было печным, и возле печки всегда лежали дрова, от которых он отщипывал лучинки и раскладывал на полу то паровозиками, то веером, то замысловатым узором. Мать приходила с работы, сердилась: опять намусорил! И он убирал.

В предшкольный год однажды ночью случился в их коммунальной квартире небольшой пожар в чулане, который в давние времена был ванной комнатой. Пожар Толя проспал. Наутро, когда вышел на кухню к раковине почи-

стить зубы, застал скандал — кто виноват и что делать? Виноватого не нашли, проголосовали за короткое замыкание. Начали сбор денег на очистку и покраску чулана... Не успевшие стогреть, но слегка подпаленные вещи разнесли по комнатам, сосед помог матери внести в комнату не то сундук, не то чемодан — ящик с ручками. И мать убежала на работу.

Толя не без труда открыл две защелки, заглянул внутрь, и душа его дрогнула. Он разглядывал загадочные и волнующие предметы, к которым не смел прикоснуться. Первые два часа знакомства он только смотрел на полированные деревянные столбики со светлыми металлическими зажимами, цвет дерева и цвет металла тянулись друг к другу, как будто дружили. Черная-пречерная ткань, на которой были уложены эти стройные деревяшки, тоже была невиданной: бархатистая, мягкая на вид. Предмет вроде кастрюли, но крышка странная, с круглым наростом поверху. А под черной тканью лежало еще что-то, не менее загадочное, но невидимое. С чувством нарушения какого-то свя-

того запрета, о котором его новорожденная душа знать не могла, но почему-то знала, он стал вынимать лежащие сверху предметы, чтобы рассмотреть то, что лежало в нижнем слое. Там лежали вещи, назначение которых Толику предстояло узнать через годы: фотоувеличитель, кюветы для промывки фотографий, круглые коробочки с просроченной давным-давно пленкой и пачки столь же негодной фотобумаги. На дне он нашел маленький кожаный футляр, в котором лежало лучшее из всех сокровищ: планочка, с одной стороны которой была рамка, с другой — круглое окошечко, в которое можно было смотреть. Он заглянул в него с осторожностью и увидел в этом окошечке свое окно, которое давно уже было рамкой для его наблюдений за жизнью, и теперь это окно оказалось тоже в рамке. Предмет этот назывался визир, но об этом он узнал много позднее. “Гляделка”, — сказал про себя... Если бы он мог выразить словами то, что почувствовал, то сказал бы: жизнь обрела смысл, и смысл ее заключен в этой самой рамке.

Спустя три дня, когда все предметы из ящика были досконально изучены и не хватало только объяснения, зачем нужны все эти чудеса, пришло объяснение: в боковом кармане ящика было нечто вроде подкладки или отделения, которое он не сразу заметил, а когда заметил и открыл, обнаружил там множество фотографий, наклеенных на плотный картон, и он догадался, что именно для изготовления фотографий и нужны все эти восхитительные предметы.

На каждой фотографии был изображен один или несколько человек, мужчины, женщины и дети в непривычной и невероятной одежде, даже и почти не люди, а существа неизвестной породы, вроде тех животных, что он видел в зоопарке, куда его мать однажды водила: слоны, или ящерицы, или обезьяны. Лица этих людей были серьезные, с выражением важности и достоинства, — что офицер с фуражкой, лежащей на специальной подставке, что девочка в белом платице с выпученными глазами или старик с бородкой и тростью со

своей степенной старухой в высокой плетенке волос на большой голове.

Какие-то подобные существа мелькали иногда в телевизоре у соседки, куда он заходил по вечерам вместе с мамой.

И он временно оторвался от железных, деревянных и пластмассовых вещей и стал раскладывать по полу эти фотографии рядами, веером или иным порядком — по размеру, по надписям снизу или на обороте...

Тайна заветного ящика отчасти разъяснилась, когда мама сказала мимоходом, что она служила еще до его рождения у старого одинокого фотографа, и этот ящик она привезла домой, а все остальные вещи успели разобрать его вредные соседи, как только узнали, что старик умер в больнице.

В сентябре Толя пошел в первый класс. К Новому году он занял лидирующее положение среди отстающих учеников. Так, в качестве последнего, он просидел на последней же парте пять лет, только один раз, в третьем классе, оставшись на второй год. Учителя его тяну-

ли, жалели и, в общем, хорошо к нему относились, поскольку он никогда не мешал на уроках и не причинял никаких педагогических беспокойств, кроме плохой успеваемости. Он отсутствовал...

Однажды одноклассник Женя предложил ему поехать вместе с ним в кружок фотографии в Дом пионеров на Ленинские горы. Этот Женя давно уже хотел туда поехать, но родители его не отпускали одного и соглашались, если только он найдет себе компанию для поездок.

В фотокружке ему очень быстро стало понятно назначение всех вещей из ящика, и он мог только посожалеть, что главного предмета, фотоаппарата, в ящике не обнаружилось. Зато фотоаппарат был в фотокружке. Им можно было пользоваться изредка, по очереди, изучая фотографическую науку скорее теоретически, чем на практике. У некоторых мальчиков фотоаппараты были, но о том, чтобы завести свой собственный, Толик мог только мечтать. Но это хорошо, когда человеку есть о чем мечтать.

Раз в неделю, по понедельникам, он приходил в кружок. Одноклассник довольно быстро отпал, а Толя готов был ездить сюда хоть каждый день. Здесь он переставал быть отстающим и неразвитым, ловил каждое слово преподавателя Котова, и все сказанное и показанное отпечатывалось в его голове, как на фотопластинке. Здесь он оказался и самым сообразительным, и самым рукастым.

Тем временем закончился восьмой класс. Ему было шестнадцать, и пора было двигаться куда-то дальше. Выбрал приборостроительный техникум. Фотографию он понимал как любовь, а не как возможную профессию. Но экзамены в техникум Толик завалил, пошел в ремеслуху, куда брали просто по предъявлению справки об окончании восьмилетки. Были там и свои преимущества: давали небольшую стипендию, талоны на обеды. Одеждой, правда, к тому времени уже не обеспечивали, но Толик был некрупный, донашивал свою синюю школьную форму.

В ПТУ учебные дела его пошли гораздо лучше, чем в школе, он уже был не отстающий,

а достойно-средний, ничем не выделяющийся, кроме одного: у него было дело, которое отвлекло от всех глупых подростковых развлечений. Он по-прежнему ездил на Ленгоры, в фотокружок, и там был самым знающим и весьма уважаемым. И, конечно, самым старшим и заслуженным — к этому времени у него был диплом за участие в городском конкурсе “Люби родную природу” и награда в виде пластмассового кубка с отпечатанным на боку фотоаппаратом за второе место во всесоюзном школьном конкурсе “Родная страна”.

В кружке Толик был, конечно, переростком, но Котов его не гнал, держал за помощника. Толик овладел всеми умениями фотографа — не мял и не рвал пленку при заправке в проявочный бачок, научился и проявлять, и печатать, и обрезать с помощью специального резака неровно-звездчатым узором края фотографий.

Иногда Котов давал ему свой старый аппарат, и он уезжал куда-нибудь в Сокольники или в Тимирязевку и снимал там гуляющих среди

деревьев людей. Старался, чтобы в кадр попал и человек, и дерево. Это было не просто.

Едва закончил училище, его призвали в армию. Армия Толика не пугала: “Как все, так и я”. Накануне отправки Котов подарил ему фотоаппарат “Смена-6”, старую камеру, из самой первой серии 1960 года изготовления, которую Котов давно уже заменил на более передовую, но все жалел расстаться со старой. Преодолевая природную жадность и нажитое за годы почтение к заслуженной вещи, вручил ее своему лучшему ученику.

Три месяца Толик провел в учебке. Никогда прежде не видевший ружья, он оказался лучшим стрелком во всем потоке, но ему так и не пришлось на ум, что умение фотографировать сродни умению стрелять.

За стрелковые успехи направили его в погранвойска. Ехал он почти две недели поездом, с длинными остановками, иногда по двое суток ожидая отправки в каких-то железнодорожных закоулках, всё на юг и на юг. И привезли его в город Душанбе, там погрузили восемь сол-

дат-новобранцев в новенький вертолет и повезли на место службы, на погранзаставу, приютившуюся в отрогах Памира, в безлюдном ущелье возле горной реки Пяндж. Из маленького квадратного окошечка вертолета Толя увидел мир, превосходящий все его представления о размерах чего бы то ни было. Сначала были бесконечные степи, потом земля всхолмилась и начались невиданные горы, выстроенные длинными шеренгами, непривычно близкое небо и плотные, как сливочное мороженое, облака. Толя даже подумал, что уже умер, — на земле такого не бывает... Но шум мотора разрушал небесную картину своим грубым звуком. Он оцепенело смотрел в окно, пока вертолет не приземлился.

Погранзастава Сари-Гор после этого небесного путешествия оказалась точкой обзора огромного горного мира, о котором он и не подозревал.

Пограничная служба Толи, все два с половиной года, прошла в горячем сожалении, что он не взял с собой фотоаппарата, и каждый день

мысленно прикидывал, откуда какой надо было бы сделать снимок, в какое время дня, при каком освещении и под каким углом. Горизонта, к которому привыкли жители плоской земли, здесь не было, край мира был зубчатым и прерывистым.

Сама служба была монотонной, ровно никаких происшествий за все время не происходило: ни шпионов, ни опасных нарушителей границы он так ни разу и не увидел. Главной заботой была ловля контрабандистов, которые тащили из Афганистана наркотики самыми хитроумными способами. Афганцы и таджики испокон веку ходили по этим горам, передавая секреты ремесла из поколения в поколение. Иногда, когда их ловили, происходила перестрелка... Никакой войной в те годы еще не пахло.

Закончив службу, Толик вернулся домой. Мать обрадовалась. Если бы у них спросили, любят ли они друг друга, оба удивились бы. Валентину в детдоме, где ее держали до шестнадцати лет, научили выживанию, а любви не научили, и она не смогла научить этому сына.

И никакого мужчину полюбить ей тоже не удалось. Помнила, что в шестом классе ей сильно нравился учитель физкультуры в синем тренировочном костюме, но он ее и не замечал, а другому, который ей не нравился, но очень просил, уступила, а потом еще было несколько похожих случаев. Вот и вся любовь. Толика Валентина любила сколько могла, не задумываясь, а кто его отец, она и сама точно не знала.

К тому времени как Толик вернулся, у нее в жизни произошла перемена, с завода ее турнули, и теперь она работала в домоуправлении за те же восемьдесят рублей. Ей хватало.

В доме ничего не изменилось. Толя первым делом кинулся к фотоаппарату, он лежал в ящике стола, где и был оставлен. Все его фотохозяйство было в сохранности, мать не прикасалась. На второй день поехал к Котову. Котов обрадовался:

— Вовремя ты приехал. Мне дали ставку фотолаборанта, хочешь?

Толя хотел. Очень. И на следующий день вышел на работу, хотя оформили его только че-

рез две недели. Это и было настоящее возвращение домой, к проявке и печати, к пленке и фотобумаге.

Снова он ездил по выходным то в Парк культуры, то в Сокольники, то в Серебряный Бор. Ему все хотелось соединить человека с природой, но масштаб человека и масштаб природы не хотели совмещаться. Иногда, когда люди приходили в гости к деревьям, получалось поймать в объектив некое соприкосновение человека и дерева, человека и кустарника, человека, спящего на траве. Как будто пейзаж умаялся и оказывал человеку свою милость...

Котов смотрел на его фотографии, кряхтел, хмыкал, изредка хвалил. Говорил, что надо осваивать печать на большом формате, но оборудования такого в кружке не было.

Тем временем произошло большое событие: умерла соседка Семеновна, которая когда-то кормила Толика обедами, и ее комнату — двенадцать квадратных метров — отдали матери, откровенно говоря, по благу: не зря она работала в домоуправлении. Коммуналки в ту пору еще не

расселяли, но и новых жильцов не прописывали. Трухлявое имущество Семеновны выволокли на помойку, и Толя устроил в этой комнате фотолабораторию. По счастью, одна стена граничила с кухней, и он смог отвести к себе воду.

Теперь он работал в новом режиме: не просиживал на Ленгорах с утра до ночи, а ходил в соответствии с тем расписанием, которое дал ему Котов, — три раза в неделю часов по шесть. Котов же и связал его с редакцией журнала “Природа”, и он стал там внештатным сотрудником, ездил в командировки, делал по заказу журнала ландшафтные съемки, а иногда и фотокорреспонденции из лаборатории или из охотхозяйства... Постепенно он даже начал читать этот журнал. Там, в журнале, была вся химия, биология и физика, которые он недоучил в школе. И каким-то прихотливым образом это связывалось с тем, что он умел делать, — с фотографиями...

Он много ездил по стране — посылали его и в Бурятию, и на Каспий, и на Алтай. Побывал и на Памире, уже с фотоаппаратом. Обычно он

выходил на съемку один, как опытный охотник за ранним зверем, бродил, ожидая толчка в сердце: здесь! я здесь! ты здесь! И долго примерялся к местности, потому что знал ускользящую тайну — правильно выставленная рамка. И все щелкал, щелкал — больше всего на свете он любил пейзажные съемки.

Его фотографии нравились, их всегда принимали заказчики, иногда брали на выставки, и теперь Котов гордился учеником, как прежде Толя гордился учителем.

Денег у Толи теперь прибавилось, он собрал на новую камеру и купил *ZEISS IKON CONTAX* с шикарным объективом *Biotar f2/58*, и это было событие, меняющее жизнь, как меняет ее переезд в другой город, женитьба или рождение ребенка. Его чувство к новой камере включало в себя и оттенок неловкости перед старой, как перед первой женой, оставленной ради новой, молоденькой красавицы. Хотя вторая любовь не отменяла первую.

Наступило такое время в жизни Толи, что он перестал быть отстающим или середнячком,

а занял достойное место среди профессионалов. И хотя он жил все в той же коммуналке на той же Маросейке с матерью, ел еду, которую она так и не научилась готовить, до износу носил одежду, новые вещи покупал лишь по необходимости, зато собрал целую коллекцию фотоаппаратов. Ни в чем другом он не нуждался. И ни в ком другом...

Почти бессловесное общение с матерью, с Котовым и несколькими работодателями его вполне наполняло. Как и в юности, не обзавелся ни друзьями, ни подругами. Женские лица он пристально рассматривал только в видеоискателе, да и вообще самое интересное в жизни происходило именно в этом глазке.

Изредка Толя участвовал в выставках, один раз чудом его работы попали во Францию, правда, без него. Но он получал теперь хорошие заказы: кроме журнала "Природа", где он теперь постоянно печатался, его приглашали и на всякие интересные проекты, то связанные с ВДНХ, то с театром. Получил несколько призов в разных конкурсах.

Толя любил всякую новую неопробованную работу, однажды работал с биологами, помогал проводить съемки с укрытых в тайных местах камер разных птиц, их повадки, ссоры, любовь и смерть. Вспоминал ту парочку ворон, которая так занимала его в детстве. Теперешнее окно его комнаты выходило на другую сторону, не во двор, а на улицу, и вообще было по большей части завешено темными шторами. Другой раз его пригласили в театр — совсем другая работа оказалась, с птицами ему было интереснее, а лица актерские не вызывали такого волнения, как те, что были на старых фотографиях из фотоателье с одним и тем же адресом — Крещатик, город Киев. Теперь он знал до тонкости, как работали те мастера, — дело, конечно, было в серебре, которое давно уже не использовали в фотографии. Впрочем, в таком качестве уже никто не нуждался. Акт фотографии, который когда-то был сам по себе событием, измельчал и страшно опростился — гордые и качественные фотографии начала двадцатого века заменились мутным любитель-

ским мусором, производимым в несметных количествах.

Зарботки Толи стали серьезными, он спросил как-то, не хочет ли мать уйти с работы, она отказалась: а что я делать-то буду, суп тебе варить? Женился бы, я с внуками бы сидела...

Вопрос был задан вовремя. Он как раз познакомился с Леной, портнихой из театральной пошивочной мастерской, которая всерьез рассматривала его кандидатуру. Она была Толи по-старше, с ребенком, но Толю смущал как раз не ребенок, и даже не возраст невесты, а страх перед переменой — Лена была разведенная, жила в дальнем пригороде и точно захотела бы перебраться к нему в квартиру. Но никакие соседи больше умирать не собирались, и видов на еще одну освободившуюся комнату не было. Он даже начал собирать деньги на строительство кооперативной квартиры, но процесс накопления шел довольно медленно. Лене тем временем улыбнулось счастье, и она выскочила замуж за вдовца с большой квартирой. И Толин несколько криковатый роман рассосался сам собой...

К тридцати годам Толик почувствовал не знакомую ему прежде усталость — даже аппаратуру таскать стало тяжеловато. Мать, смотревшая обычно в пол или мимо лица, заметила, что он плохо выглядит. Но его огорчало другое: он почувствовал, что левая рука стала мелко подрагивать, появилась какая-то шапкость движений и неуверенность в себе. Поначалу Толику казалось, что надо перетерпеть это наваждение, что пройдет само, но дрожание левой руки не проходило, более того, через полгода перекинулось на правую. Это подлое дрожание стало как-то отзываться даже на подбородке, и уже не только мать, но и другие люди стали замечать. Может, и правда болезнь?

К врачу он пошел через два года, когда здоровье его совсем расстроилось. И ходил он теперь не совсем уверенно, мелкими короткими шажками... Он в душе отмечал несправедливость своей болезни: пусть бы болел живот, или голова, да хоть и ноги, но трясушка эта не давала ему работать, и он горевал, даже матери не жаловался, но временами сидел в оцепенении,

ожидая, что вот пройдет это состояние, и он доберется до редакции, возьмет новый заказ. И так проходил год за годом. Прописанные таблетки не помогали. Кооперативные деньги, которые он когда-то собирал, все не кончались. Жили скромно, как всегда. Работы были случайные, исполнять их становилось все труднее. Он перестал доверять и себе, и своим дрожащим рукам.

Сидел, неделями не выходя на улицу. Иногда он собирался встать, выйти из дома, просто погулять на Чистых прудах. Но быстро забывал, садился на стул перед рабочим столом в своей отвыкшей от работы комнате, дремал, просыпался, снова засыпал. А перед собой держал пейзажные фотографии. Рассматривал...

Руки совсем перестали слушаться. Даже ложка в пальцах не держалась. Мать теперь его кормила как маленького. Перед уходом на работу надевала на него рубаху, он просил, чтобы костюм тоже надела. И ботинки просил надеть. Шнуровка ему совсем не давалась, мать шнуровала ему ботинки — он все собирался в редак-

цию журнала “Природа”, но не получалось: у него была ночная бессонница, долго не мог уснуть, всю ночь шаркал в уборную, а утром его начинало клонить в сон, и он засыпал, сидя на стуле, одетым и обутым, а проснувшись, откладывал выход на завтра или вовсе забывал о своем намерении.

Валентина проявляла большое терпение. Оно у нее было на месте любви. Толик про любовь тоже мало чего знал, но благодарность, соседственная любви, была ему знакома. Терпение у него было большое, как у матери. Он его проявлял к своей болезни — не сердился, не жаловался, только удивлялся.

Часами рассматривал фотографии — пейзажи. Все, которые он за жизнь наснимал. Некоторые опубликованные. Но много и неопубликованных. Часами смотрел он на изгибистую тропинку среди леса, снятую как бы снизу вверх, так что она не скрывалась за деревьями, а уходила в небо... смотрел на снятые им в Репетеке, в Восточных Каракумах барханы, похожие на морские волны, только

двигались они, в отличие от волн морских, медленно-медленно, и движение их заметно было только по тончайшей вуали песка, который ссыпался с заостренной, немного загнутой книзу вершинки. Хотелось подставить руку, чтобы собрать в горсть этот белейший хрустящий песок... А вот склон в Красной Поляне, куда он ездил всего лет пять тому назад, в последнюю далекую поездку. Или это Крым? Он снимал там в Карадагском заповеднике. Крым после памирских пейзажей показался тогда старым и изношенным. Впрочем, так оно и было...

Более всего он любил рассматривать фотографии Памира. Ни с чем не сравнимого Памира. Склон сначала покатый, потом делался круче, с перегибом, с поворотом в конце, а вдали сияющая резьба гор. Попасть бы туда, в этот белый мир, и дойти до самого поворота, за которым — он знал — был еще один, и еще один... Нет, нет, пейзаж никогда не принимает в себя человека, не для того он задуман природой, чтобы человек топтался, проминал свои следы,

оставлял сор своего присутствия, нечистого дыхания...

Но дорога эта была знакомая, хоженная. Это его погранзастава. По этой дороге он доходил тогда до одинокого дерева. Вот оно, на фотографии. Тутовое дерево. Потом дорога заворачивала заманчиво, и там открывался новый вид, как всегда в горах — ожидаемый и неожиданный...

Мысленным взором он дошел до следующего поворота. Удивительное дело, Толик там ни одного снимка не сделал, а все помнил... увидел ржавую консервную банку... лошадиные белые кости... помятое ведро... он пнул его и почувствовал боль в пальцах. Нагнулся, тронул пальцы ног. Не поранился. Но почему он босиком? Пальцы рук больше не дрожали, но он этого даже не заметил. Не имело значения.

Впереди громоздились острые пики гор, в том самом порядке, как они были устроены в начале времен: два рядом, провал, один большой пик, четыре маленьких... а позади еще одна гряда, совсем высокая. А над всем этим стоят

облака, плотные, как сливочное мороженое, как будто из самолета сверху на них смотришь.... Нет, это не Красная Поляна, не Кавказ, это па-мирская съемка, конечно же...

Толик легко шел по этой каменистой изби-той дороге. Дорога становилась все круче, а идти было все легче. Горы приближались бы-стро, как в кино, и он уже увидел следующие гребни, которые никогда не были видны с за-ставы. Пейзаж звал его к себе, и он чувствовал, что наконец он сможет войти в него. Пейзаж его принимал. И, что самое странное, — никакой рамки не было. Она теперь вообще была не нужна...

Валентина вошла в комнату Толи. Его не было. Она окликнула на всякий случай. Куда делся? Пальто давным-давно висит на вешалке, его он и снять не смог бы — руки его так высоко не поднимались. Прошла по узкому проходу — все было заставлено его пыльным барахлом. А что самое удивительное — на стуле лежали его брю-

Людмила Улицкая

ки, старый пиджак, рубашка застегнутая. Валентина приподняла вещи, потрясла слегка. Из рубашки выпала майка. А под стулом стояли Толины туфли. Зашнурованные. И в каждом лежало по носку. Один был заштопанный.

АВА

В конце 1944 года Елена Михайловна, работник Метростроя, получила ленд-лизский подарок. Из-за того, что очередь была длинной, а она припоздала, яичного порошка, тушенки в черно-золотой банке и шоколада ей не хватило, а досталась ей детская игрушка из большого ящика с изображением орла, парящего над кораблем. Игрушка оказалась собачкой, скорее даже щенком — из грязновато-серого лохматого плюша, с коротким торчащим хвостом, висячими ушами и пуговичными глазками. Со-

бачка эта была сущей мелочью изо всех ленд-лизовских даров, потому что остальные семнадцать миллиардов американских долларов пошли на самолеты, машины “Виллис” и прочие необходимые для Красной армии вооружения. Но внучка Мила этого знать не знала и собачке обрадовалась. Двух лет ей еще не исполнилось, но она была сообразительная девочка, схватила щенка, прижала к груди и сказала: “Ав-ва”. Это было первое имя собачки, которой выпала очень длинная и счастливая жизнь.

С двух лет до семнадцати Мила засыпала, положив Аву рядом с собой на подушку, шепча в собачье ухо обо всех своих горестях и радостях. Главным образом о горестях. Эту психологическую помощь Ава оказывала хозяйке много лет, а начиная с семнадцати Мила предпочитала видеть рядом с собой на подушке уже не совершенно бесполою собачку, а существо противоположного пола, которое по части утешения сильно превосходило собачку. Ава тогда переехала в соседнюю комнату большой квар-

тиры, где жили Милины двоюродные братья, вошедшие в тот возраст, когда дети начинают интересоваться собачками.

Мальчики-близнецы, Петя и Павлик, тоже внуки Елены Михайловны, первое время жестоко ссорились из-за собачки — каждому хотелось с ней играть именно в тот момент, когда к ней прикасался брат. Тогда появилось у собачки сразу два новых имени — Павлик назвал ее Альмой, а Петя Рексом. Павлик назначил ее санитаром, цеплял на лапу бумажное кольцо с нарисованным красным крестом и ползал по воображаемому полю боя в поиске раненых бойцов. Петя играл в пограничника, и Рекс был ему необходим для охраны границы и ловли шпионов. На полу он рисовал мелом широкую полосу, сладострастно ловил брата, когда тот пересекал меловой рубеж, и давал ему тумака...

Мать в конце концов купила вторую собаку, но Альма-Рекс оставалась яблоком раздора. Новая, покупная, может, была и получше, но братья полюбили первую собачку первой любовью. Иногда они ссорились перед сном, до

бурных слез — каждый хотел непременно засыпать рядом с Альмой-Рексом. Предсонные слезы, как известно, способствуют быстрому засыпанию.

Когда интерес к машинкам заменил привязанность к мягким игрушкам, они легко подарили двухименную собачку Милиной дочке Саше, которая приходилась покойной Елене Михайловне правнучкой.

Мила, взглянув на сильно несвежую собачку Аву, с горечью подумала о том, что бабушки Елены Михайловны двадцать лет нет, да и мама ее не так давно умерла в нестаром возрасте, а вещи остаются почти нетленными. После чего отнесла собачку в химчистку. Теперь это была потрепанная, но чистенькая собачка, и Милина дочка Саша назвала ее новым именем — Кутя.

Мила с улыбкой смотрела, как Саша шепчется о чем-то с новой игрушкой. Кутя несла собачью службу исправно: привязанная к веревочке, таскалась за новой хозяйкой по квартире, потом стала выходить с ней на прогулки во двор. И конечно, она стала спальным партне-

ром Сашеньки. Лежала рядом на подушке, девочка заботливо подтыкала одеяло со всех сторон и посвящала Кутю во все свои незамысловатые тайны. Кроме того, было что-то особо снотворное в прикосновении плюша, особенно в те недели, когда девочка болела. Именно собачку первой утыкали носом в микстуры и таблетки перед тем, как их проглатывала Саша.

Лет с десяти Саша просила, умоляла, а потом и требовала, чтобы ей купили живую собаку. Мила, умеренный противник домашних животных, в конце концов сдалась. Купили маленького серого пуделя Брома. Он гадил по углам, грыз обувь, отказывался возвращаться домой с прогулки, норовил сорваться с поводка и убежать. Любимую Сашину игру, переодевание, к которому так снисходительно относилась Кутя, Бром не терпел: на него нельзя было надеть шарф или шапку и замотать в платок. Он мог и куснуть! Однажды он отгрыз у Кути глаз, чем очень огорчил и Сашу, и ее мать, тем более что откушенный глаз Бром безвозвратно проглотил. К тому же Бром претендовал на место

Кути, вспрыгивал в Сашину кровать и скулил, когда его оттуда гнали. В доме от него было много беспокойства, но через месяц он заболел чумкой и, несмотря на старательное лечение, скончался, причинив Саше первое большое горе... Прижимая к себе надежную Кутю, почти взрослая девочка оплакивала Брома. Теперь в доме оставалась одна Кутя, не причинявшая никому беспокойства, даже потенциального — никакие чумки ей не грозили, и она терпеливо переносила любые костюмированные балы. Саша собственноручно — коряво, но крепко — пришила на место выкушенного и потерянного глаза пуговицу, мало похожую на отъеденную. Теперь у Кути один глаз был американский, стеклянный, с черным зрачком посередине, а второй — перламутрово-голубой и размером чуть побольше. Саша после этой операции полюбила свою игрушку еще больше, она стала еще милей ее сердцу.

В двенадцать лет Саша стала ходить в секцию пинг-понга, на английский язык и в бассейн, и времени на домашние игры не остава-

лось. И хотя никаких кукольных чаепитий и собачьих переодеваний больше не было, Кутя по-прежнему жила у Саши в постели. Она была уже не молодым щенком, а существом вполне преклонных лет. Ей шел чуть ли не седьмой десяток, когда наступил новый век.

Саша жила себе и жила, закончила школу, поступила в институт, на третьем курсе у нее случился бурный роман с однокурсником. Собачку засунули на антресоли вместе со старой каракулевой шубой Елены Михайловны. В очередной раз Кутя уступила свое место на подушке...

К тому времени квартира из родственно-коммунальной стала отдельной, двоюродные братья Милы построили кооперативную квартиру и выехали. Мила с мужем принимала материальное участие в строительстве этой квартиры, и в качестве компенсации получила от съехавших родственников половину дачного участка, ими совместно унаследованного от Елены Михайловны. Теперь Мила оказалась единственной владелицей шести соток земли и домика в две комнаты...

В этот освободившийся от родственников дачный домик Мила вывезла весь скопившийся за долгие годы в городской квартире хлам, всё старье и все вышедшие из употребления вещи, которые выбросить на помойку рука не поднималась по привычке всегдашней небогатой жизни. Теперь у Саши было все — и отдельная комната, и дача, и диплом плехановского института. И она вышла замуж за того самого однокурсника, который вытеснил некогда Кутю.

В первое лето Саша с мужем Кириллом целый месяц провела на даче, где они с большим рвением принялись обустраивать летнее гнездо. Ее Кирилл оказался рукастый, и ему в радость было это жизнеустройство. Всё барахло в трех допотопных фанерных чемоданах перенесли в сарай, в доме очистили стены от старых обоев в трижды старомодных розах, поклеили новые, в веселых полосках и птичках. Кирилл сделал новую проводку и даже в сарай провел электричество. Вот тут-то и произошла неприятность. Когда они съехали в конце авгу-

ста в город, в дачном поселке шли какие-то работы, были неполадки с энергоснабжением, случилось замыкание, и сарай загорелся. Местные люди сразу же вызвали пожарных, но когда те приехали, сарай начисто сгорел, а в нем и все свезенные на дачу чемоданы. И собачка Кутя приняла быструю огненную смерть вместе со старой шубой Елены Михайловны и прочим старьем.

На этом все и закончилось: дом не пострадал, и на соседние дачи огонь не перекинулся.

Мила, когда узнала о дачном пожаре, сначала ужасно расстроилась, но когда ей сообщили, что сгорел только сарай, утешилась. Она даже не могла вспомнить, что же там в сарае лежало. Про собачку не вспомнила.

Следующим летом Кирилл закончил ремонт на даче. В июле у молодой парочки родился сын Андрюша. Славный голубоглазый младенец. Все было с ним хорошо, он сосал с аппетитом, в весе прибавлял изрядно, отросли щечки, на лысой головке пробился смешной чубчик серовато-белых волос. К полугоду стал

меняться, как обыкновенно бывает, цвет глаз — от молочно-голубых младенческих к тому взрослому цвету, который остается на всю жизнь. Тут-то и обнаружилась одна интересная особенность: один глазок у Андрюши стал темнеть, из голубого превратился в карий, как у отца, а второй так и остался младенчески-голубым. Встревожились, обратились к докторам. Глазная врачиха сказала, что такое разноглазье иногда случается, на зрение не влияет. Называется это явление гетерохромия. В остальном мальчик Андрюша был здоровым веселым ребенком, ласковым, с хорошим характером...

Когда Андрюше исполнилось пятнадцать лет, к его разноцветным глазам все привыкли, и они не вызывали особого интереса, его мама Саша, нормальный инженер с нормальным советским мировоззрением, развелась с Кириллом и подпала под влияние друга-самиздатчика. С ним вместе она погрузилась в неизведанное про-

странство русской религиозной философии. Она уже прочитала много чего, когда в руки ей попала книга “Роза мира” Даниила Андреева. Судьба этого автора была удивительна, она тронула Сашу. Оказалось, что она многого не знала об историческом процессе, который так стройно излагали на всяких обществоведениях.

В 1947 году Андреев был арестован, судим и получил срок в 25 лет по известной 58-й статье. Часть своего срока он провел в одиночной камере Владимирского централа, тюрьмы для особо опасных преступников. Писать ему разрешали, и за эти годы он написал множество литературных произведений, в которых сочетались дерзость мысли, мощь воображения и безвредное безумие.

В своей занятнейшей, как сказка, “Розе мира” он описывает созданный его вдохновенным воображением мир разных фантастических духовных сущностей — игвы, уицраоры, рыфры, велги и прочие раругги. Получилось такое специальное чтение для любителей философской эзотерики.

Эта самая “Роза” глубоко запала в инженерную душу Саши, поколебав проржавевшие установки здорового марксизма-ленинизма. Даниил Андреев повел Сашу по новому и увлекательному пути.

Среди прочего Даниилу Андрееву было дано знание о происхождении душ. Прежде этот вопрос нисколько не занимал Сашу, она даже и не знала о существовании такого вопроса. Даниил Андреев открыл ей глаза. После настойчивого вопрошания любознательного узника к Высшим силам о том, как возникли души в нашем мире — были ли они созданы Господом Богом единовременно, а потом спускаются в мир по мере надобности, или сотворение душ происходит постоянно, при каждой беременности, и спускается на землю душа по мере надобности, стоит новорожденному телу лишь пискнуть, — он получил свыше неоднозначный ответ: вообще говоря, все души (в его словоупотреблении “монады”) были сотворены одномоментно, с большим запасом, на все время существования человечества, но вместе с тем

сохраняется и тонкий ручеек созидания новых монад — путем накопления и концентрации любви в среде людей. Например, если любовь ребенка интенсивно направлена на какой-то неодушевленный предмет, на игрушечную собачку, скажем, и поток этот целенаправленный и мощный, то после физического уничтожения этого объекта накопленная им любовь концентрируется в новую монаду, и она опускается в наш земной мир...

“Кутя! Это про нашу Кутю!” — восхитилась Саша. И она совершенно уверилась, что душа их разноглазого Андрюши и судьба многоименной собачки, любимой игрушки нескольких поколений детей, связаны мистическим узлом. А иначе как объяснить его разноглазие? И удивительно ли, что назвали они своего мальчика по какому-то наитию Андреем? Не в память ли Андреева?

А что теория эта маловероятна, Сашу несколько не беспокоило.

АУТОПСИЯ

Коган любил свою чудовищную работу, особенно своих своевременно ушедших мертвецов — старых, измученных жизнью, облысевших, утративших бодрую растительность в подмышках и в пахах, их исхоженные стопы, шишковатые и мозолистые, обвисшие груди и мошонки. Медленно натягивая кольчужные перчатки, он оглядывал окаменевшее тело, непрочитанную книгу, и составлял первое поверхностное впечатление, оценивая тело по известному лишь

ему одному измерению — умер ли покойник в свой срок или не дожил до отведенного ему природой предела. Таких, кто сильно пережил этот предел, он называл “позабытыми” и немного беспокоился, не попадет ли и сам в их число. Детей и молодых женщин он не любил вскрывать, отдавая предпочтение своему надежному и законному контингенту.

Первая жена Когана, гинеколог, незадолго до развода сказала ему фразу, которую он и по сей день не забыл: только патологический тип может выбрать себе профессию патологоанатома... Женская глупость: патологоанатом, по мысли Когана, был священником чистой телесности, последним уборщиком храма, который покинула душа. Зато вторая жена Ниночка была библиотекарем и даже слова “аутопсия” не знала. И это было прекрасно.

Обычно внимательное вскрытие шло два часа, и за это время он успевал прочитать историю жизни, как лечащие врачи читают исто-

рию болезни. Умным взглядом он видел за распластанным на оцинкованном столе телом хилого или слегка ожиревшего ребенка со всеми его корями-скарлатинами, пубертатным взрывом, зажившими переломами, мелкими травмами...

В большинстве случаев он подтверждал диагноз, приведший к смерти, но иногда раскрытая книга умершего тела предъявляла неожиданные сюжеты: вот умерший от инфаркта пятидесятилетний мужчина с недиагностированной опухолью кишечника на последней стадии, или погибший в автомобильной катастрофе знаменитый актер, сосуды которого были в таком состоянии, что автокатастрофа избавила его от неизбежного скорого инсульта, или женщина-самоубийца с неопознанным белокровием... как будто несколько болезней соревновались в еще живом теле и побеждала не всегда сильнейшая.

Коган был одним из старейших патологоанатомов, давно на пенсии, но время от времени его вызывали на особо сложные случаи — на

вскрытия и на судебно-медицинские экспертизы. В этот раз позвонили еще в пятницу, но он уже уехал на дачу, не хотел возвращаться, и главврач огромной московской больницы, целого медицинского города, бывший его ученик, попросил его приехать в понедельник, потому что случай столь тревожно-особенный, что хорошо бы, чтобы именно Коган рассмотрел его первым, пока не пришли следователи.

На столе лежал молодой мужчина, худощавый, безукоризненного сложения, кожные покровы желтовато-мраморного цвета, с ножевым ранением грудной клетки, множественными кровоподтеками на лицевой части черепа, ссадинами на лбу и перебитыми стопами...

Подошел служащий морга, старый санитар Иван Трофимович, что-то неразборчивое прошепелявил. Коган последние годы терял слух и раздражался на тех, кто невнятно и в сторону что-то бормочет. Он хмыкнул, санитар кивнул и перевернул труп на бок таким образом, что стала видна часть спины умершего: по обе стороны от позвоночника, на уровне третьих-пя-

тых ребер, параллельно дорзальной части лопаток зияли два странных, как будто посмертно произведенных разреза. Санитар опять что-то невнятное пробубнил, и Коган, коснувшись странного разреза, рывкнул:

— Громче говорите, Иван Трофимович, я плохо слышу. Кто-то трогал труп?

— Нет, в пятницу вот так и привезли... Я и сам удивляюсь.

— Ладно, разберемся, — буркнул Коган, посмотрел историю болезни, покачал головой. Больной попал в больницу по скорой в пятницу в 22:45 и через час скончался. Смерть, скорее всего, наступила в результате ножевого ранения...

Коган посмотрел на разложенные инструменты. Полный набор: скальпель, пила, секционные ножи, краниотом, распатор... Начал, как принято, с черепа.

Через два с половиной часа Коган подписал протокол вскрытия. Смерть произошла от ножевого ранения и последующего кровотечения, побои и легкие травмы черепа, так же как и раз-

дробленные стопы, не могли быть причиной смерти.

Домой приехал подавленным и совершенно измученным, с твердо принятым решением — это было последнее вскрытие в его жизни... Два симметричных разреза на спине покойника не выходили из головы. Анатомию человеческого тела он знал в совершенстве, но эти два кармана в глубине разрезов, эти эластичные мешки неизвестного назначения он встретил впервые за шестьдесят лет практики.

Он был медиком с широким кругозором и рациональным мышлением, без всяких метафизических блужданий, но анатомия этого покойника направляла его мысли в сторону каких-то модных в прошлом веке фантастических романов про инопланетян, пришельцев, а то и вовсе в увлекательную мифологию для школьников... Он был смущен и растерян.

Мария Акимовна вторые сутки сидела на лавочке в больничном сквере. Сначала возле спра-

вочного окошка, а когда оно закрылось, вышла на улицу, села на садовую скамейку.

Сын ее Всеволод, Волечка, ушел в пятницу вечером на концерт, как обычно, и не вернулся. В субботу утром позвонил его друг Миша, пианист, с которым Воля часто вместе играл, спросил, дома ли Всеволод.

— Я беспокоюсь, Миша, он домой не пришел и не предупредил.

— Я сейчас приеду, — ответил Миша.

Через час после телефонного разговора Миша с покоренным носом и синяком в пол-лица приехал к Марии Акимовне на Делегатскую улицу.

— Мы вышли вчера после концерта. Тут прикатили ребята на трех мотоциклах, тоже музыканты, очень жесткие... Мы им сильно не нравились. Давно уже. Сначала схватили Волю, футляр из рук вырвали, он потянулся за этим парнем, а второй на мотоцикле прямо по ногам проехал, он упал, но тут и я в глаз получил, упал. Больше ничего не видел. Скорую, видно, прохожие вызвали, а куда Надя и Даша девались,

не знаю. Звоню им утром — никто трубку не берет... Сейчас, сейчас, звонить надо...

И Миша стал звонить, выяснять, в какую больницу увезли вчера Волю. Потом Мария Акимовна позвонила церковной старосте и сказала, что сегодня ко всенощной прийти не может, потому что сын попал в больницу, и хорошо бы на вечернюю уборку позвать Кирилловну или тетю Зину. Староста была женщина хоть и суровая, но к Марии Акимовне, которую звала от давности знакомства Машей, относилась хорошо, хотя и свысока. Впрочем, к Марии Акимовне все, кроме сына и его друзей-музыкантов, относились свысока, она этого и не замечала.

Приехали они в больницу на Ленинском проспекте в двенадцатом часу дня. В приемном отделении сказали, что Волю перевели в хирургическое и что им надо идти теперь в справочную. В справочной молодая женщина с пучком и бантом посмотрела в бумаги и сказала — скончался. Мария Акимовна сначала не поняла, спросила, как бы ей сына повидать...

— Не повидать. В морге он. Теперь уже после вскрытия, — сказала женщина в окошке. — А документы в отделении получите...

Миша, понявший прежде Марии Акимовны, что произошло, усадил ее на скамейку и заплакал. Мария Акимовна сидела с ним рядом, смотрела вперед прямым взглядом, молчала.

Жизнь ее обрушилась, закончилась, и она поняла, что всегда знала, предчувствовала, что вот так и произойдет. Вся картина ее жизни развернулась, от самого начала. Как умерла мама, как жила она с отцом, суровым и молчаливым деревенским священником в деревне Новоселово, ходила в школу, училась всех хуже, а потом школу в деревне закрыли, ребята стали ходить за шесть километров в Плес, а ей было трудно ходить так далеко, она была всех меньше, слабая, часто болела, оставалась дома, и отец не принуждал. Так она и сидела дома, топила печь, варила суп и кашу, а когда подросла, приехал отцов родственник из Москвы, дядя Осип, они долго говорили, и ей казалось, что про нее. А наутро отец сказал, что теперь она

будет жить в городе, у дяди Осипа. Отец же уехал на Север, в Псков, стал там монахом, и с тех пор Маша видела его только один раз, когда родился Волечка. Тогда дядя Осип, с которым у нее был записан брак в паспорте, — потому что он был старый, все не знал, как ей комнату оставить, — повез ее с Волечкой к отцу в монастырь. Отец им ни слова не сказал, не спросил ничего, но сыночка ее крестил Всеволодом, по святцам.

Они всей семьей вернулись в Москву, на Делегатскую улицу, где жили в своей комнате в большой коммунальной квартире, Маша и Воля теперь были там прописаны. Вскоре дядя Осип умер. Маша пошла на работу в ясли уборщицей. Там они с Волечкой пробыли три года, а потом его перевели в детский садик, и снова ей повезло, освободилась ставка уборщицы, ее приняли, и так уж дальше пошло по накатанной дорожке: всю жизнь вдвоем с сыном, и в школе, и в музыкальном училище.

Волечка был ангел, не ребенок — с хулиганами не водился, знался больше с девочками,

и в садике, и в школе. Лет в десять сделал себе сам дудочку, все дул в нее, нежные звуки лились. А в школе учился плохо. Так он школу и не закончил. Но Маша не сердилась на него, она и сама в ученье была не успешная. Читать-писать умела, но ни того, ни другого ей делать не приходилось. Если и было время свободное, она вязала шарфы и кофточки. Свитера для Воли вязала.

Все шло хорошо у них: своя комната, заработок хоть и маленький, но каждый месяц приходил. Воля поступил в музыкальное училище, взяли его, хотя он школы музыкальной не закончил. Но понравился очень преподавателям. Сказали, талант у него музыкальный. А Машу взяли уборщицей в училище. Свою работу она делала очень хорошо — тихо, незаметно, а чистота вокруг нее как-то сама собой образовывалась. Но училище Воля не закончил, он не мог общественные предметы сдать — история партии, научный атеизм, политэкономия разная — и “хвостов” накопилось столько, что его отчислили. Начали сразу же в армию забирать,

призывной возраст. Но он по здоровью не прошел — комиссия нашла у него туберкулез. Мария Акимовна забеспокоилась — мальчик всегда был здоровый, откуда бы? Но ей знакомый священник сказал — а вы его лечите, молитесь, и на Бога надейтесь. Ему стали давать таблетки, и он их пил, лечился. А работать пошел в артель по плотницкой части. Ему нравилось. Там почти все инвалиды работали, резали игрушки, ложки, плоски. Всеволод хорошо научился резать. И все играл на флейте. Играл по нотам, а то и без нот, свою музыку. Очень Маша любила, когда он становился в своем углу, брал флейту, и флейта запевала то Гайдна, то Моцарта, то совсем простую музыку, которую Воля сочинял, всего-то три-четыре ноты, но так они переливались одна в другую, что хотелось то плакать, то улыбаться...

Вот тогда и пришел к Всеволоду Миша, соученик, он тогда уже училище окончил по классу фортепиано, и стали они вместе играть, потом к ним еще другие музыканты добавились, Надя-скрипачка и Даша-виолончелистка.

Квартет организовали, стали выступать. И Волечка оказался у них самый главный. Он свою музыку сочинял. Его флейта все плакала и улыбалась, и без нее так хорошо не получалось. Но плотническое дело не бросал, потому что заработков от музыки никаких не было. Только расходы напрасные. Хотели в студии свою музыку записать, но в записи музыка плохо звучала. Флейта почти не слышна была, другие инструменты ее певучий тембр забивали, и все волшебство пропадало. Однако люди на их концерты приходили. Не так уж много людей, но кто приходил, уже не уходил. И приводили других, таких же, которые находили особую радость в старинном звучании флейтовых трелей. Музыка была как будто детская и прозрачная.

Маша все была прежней, только постарела, стала Марией Акимовной, и работала она теперь не в школе, не в училище, а в церкви на Тверской улице уборщицей. Ей предлагали и за свечным ящиком работать, но с деньгами ей не хотелось разбираться, она и считала не очень хорошо, боялась ошибиться, или хуже того — ведь

и обмануть ее могли очень просто. А с тряпкой и ведром она хорошо ладила.

Знала она, всегда знала, что мальчик ее был необыкновенный, зла в нем не было ни на копейку, все его любили. Он как будто зла не видел, да и оно на него до времени не смотрело. А вот девушки на него очень смотрели, он многим нравился. Они около него покрутятся-покрутятся — свободный человек, а не так уж много свободных мужчин в нашем городе, женщин всегда в избытке. Он никого из них не обижал, не обещал ничего, но никакого мужского внимания не оказывал, и они одна за другой от него отдалялись... Все, видно, хотели, чтобы Всеволод на них женился. Но об этом Мария Акимовна с сыном никогда не говорила... Жалко, конечно. Даша была хорошая, и Надя тоже...

Так сидела Мария Акимовна на скамеечке возле справочного окна, без единой слезы, а рядом с ней Миша сидел и плакал. А она перебирала свою прошедшую жизнь и понимала ясней ясного, что Воля ушел, как и пришел, чудесным образом. Не знала она, от кого понесла, откуда

он взялся, и не знала, куда он теперь ушел. Страшно было только одно — зачем его убили? Да и кто? Кому он помешал?

Видно, что Миша о том же думал, потому что обнял ее — она маленького роста, а Миша длинный, на голову выше — и говорит:

— Это музыка Волина, это все музыка. Не могли они ее вытерпеть, она их просто сжигала. Она огненная была, его музыка. Небесная...

— Да, да... — кивала Мария Акимовна. Она соглашалась, что музыка та была небесная. Силится ее вспомнить, но не могла. С ним вместе ушла та музыка...

Боль была такая огромная, изумляющая — бóльшая, чем можно было бы вообразить. Она вся помещалась во лбу, и он висел на ней, как полотенце на гвозде. У нее было острие, у этой боли. Она имела коническую форму и была сосредоточена именно в этом острие. Во всем мире не оставалось ничего, кроме боли. Но вдруг появилась крохотная сияющая точка, она

как будто двигалась, слегка вращалась и тянула его к себе. Стенки черного конуса стали еще чернее, и стало заметно, что они движутся, как будто эта яркая точка заставляла их вращаться, вытягивая в себя. И сам он почувствовал тягу этого движения. Точка расширялась, оттуда бил острый луч света, и он устремился туда. Боль была с ним, но тоже вращалась и переставала быть такой мучительной. И нота “ля” возникла в этой расширяющейся точке, и он весь подстроился под нее и двинулся в сторону света. Коридор тьмы вращался, сдавливал его, но и слегка расступался, становился как будто просторнее, и движение к светлой точке становилось все более ощутимым. Туда тянуло помимо его воли, но и воля его тоже направлена была в ту сторону.

Как будто трудное возвращение домой — мелькнуло в сознании. Давление черных стенок ослабевало. Он уже почти выбрался на все расширяющийся свет. Но снова вернулась боль, уже не конусом, впивающимся в лоб, теперь она резала спину — острая, как будто двойная.

И тут его мощной силой вытолкнуло из черной трубы, боль в спине вспыхнула и погасла. Сделав последнее усилие, он расправил прорезавшиеся в спине большие влажные крылья.

Ноги совершали легкие движения, как при ленивом плавании, руки свободно раскинулись во всю длину, подъемная сила крыла несла его ввысь, и он почувствовал, что размеры всего изменились, рухнула координатная сетка, к которой он так привык, а звук “ля” расширился невообразимо, как будто впитав в себя все оттенки слышимого и все те, которых не было в звуковом обиходе человеческого уха... Он был выше боли, она осталась под ногами.

Они думают, что они меня убили. Но это невозможно. Никого убить невозможно. Бедные злые дети... И тут он увидел боковым зрением верхушки новых крыльев, полупрозрачных и переливчатых. У них не было своего цвета, они отзывались на сияние, разливающееся вокруг, отливали розовым и зеленоватым,

и управлять ими было так же легко, как пить или петь, — какое-то маленькое усилие, которое делаешь, когда шагаешь или плывешь. И он поплыл, наслаждаясь движением, нежностью ветра и легким дребезжанием света...

Но задание-то я не выполнил. А можно ли было его выполнить? И я не первый, кто не смог его выполнить. Сколько их было, непорочно рожденных? Один говорил, его не слышали, другой писал, но никто не понимал написанного, был такой, который пел, и его тоже не слышали. А я играл на флейте... Где флейта? Ее отобрал тот несчастный парень в черной кожанке? Как жаль. Но флейта — он вдруг понял — была при нем! Она была заткнута за широкий пояс, который плотно стягивал тело. Он вытянул ее. Блок-флейта, деревянная, теплая, с семью отверстиями на лицевой стороне и с октавным клапаном на тыльной. Приложил к губам, подул. И она запела лучшим из голосов.

Он летел по незнакомому миру, который узнавался с каждой минутой, как переводная

картинка, сверкающая под слоем разбухшей никчемной бумаги. Нет, мир этот не был незнакомым. Мы все тут бывали, бывали... Он отдался целиком и движению, и мелодии, и ускользающей мысли. Она его куда-то звала, эта невысказанная мысль. И он поплыл туда, куда она его направляла. И не было никакого “сначала” и “потом” — все было одновременно, и во всей полноте. А, это время закончилось, — догадался он.

Коган уже много лет спал не в спальне, с женой, а стелил себе в кабинете, на узкой тахте. Вечером он долго читал, потом написал письмо сыну, помешавшемуся на каких-то каббалистических книгах. Сын проживал в маленьком городке Бней-Брак под Тель-Авивом, и старый Коган все пытался наладить с ним хоть видимость контакта. Потом написал письмо дочери, профессору американского университета. Она занималась современной психологией. Изред-

ка она присылала ему ссылки на свои работы, и он с отвращением читал ее статьи, которые вызывали у него то же самое чувство протеста, что и размышления его сына... Вспоминал о сегодняшней аутопсии. Эти загадочные мешки в разрезах за лопатками были необъяснимы, раздражали своей необъяснимостью и вообще не лезли в ворота его строгого и точного знания.

Он посмотрел на часы — был уже третий час. Пошел в ванную, вынул вставную челюсть, положил в стакан с водой, прополоскал рот, помочился с некоторым трудом. Лег и быстро заснул. Но вскоре проснулся. Перед ним стояла смутная светлая фигура, неузнаваемо знакомая. Коган сделал движение навстречу, привстал на кровати. Точно, точно, это был сегодняшний покойник. Никаких слов не было произнесено. Только звучала тихо, как будто от соседей, бедная светлая музыка. Флейта. Пришедший приглашал за ним последовать. И Коган последовал. Все происходящее не имело ни малейшего оттенка мистики. Убедительная реальность...

Людмила Улицкая

Утром жена дважды позвала его к завтраку, он не шел. Она вошла в кабинет. Мертвый Коган лежал под клетчатым пледом и улыбался.

СЕРПАНТИН

Памяти Кати Гениевой

Надежда Георгиевна была библиографом еще с древних докомпьютерных времен. Когда в жизни ее поколения появился компьютер, она первой изумилась ловкости нового приспособления и до глубины души прочувствовала, что мир изменился грандиозно и необратимо. И первой во всей огромной библиотеке освоила все новые премудрости.

Библиотечные работники, окруженные ветхими книгами и устаревшими новостями, — на-

род консервативный по своей охранительной природе, противящийся любым, даже самым незначительным новациям вроде переноски каталожного ящика из одного угла подсобного помещения в другой. Тогда, в начале компьютерной эпохи, возник глубокий водораздел, который одни люди перешагивали — кто легко, кто с великим трудом, — а другие признавали, что навсегда останутся в том мире, где библиографические карточки, исписанные аккуратным почерком, надежно нанизаны на металлический прут. Там ведь было все что надо: название книги, фамилия автора, выходные данные...

Надежда Георгиевна, далеко не самая молодая из работников библиотеки, совершенно безболезненно перескочила в новое тысячелетие. Ни дочка Лида, ни сын Миша такой прыти не проявили. Но она никого особенно не удивила своими достижениями, потому что все окружающие знали, что память у нее безразмерная, а мощь характера паровозная.

С предчувствием грядущего успеха Надежда Георгиевна начала полное переоборудование библиотеки на новый лад. Все старейшие сотрудники от чувства профессиональной неполноценности быстренько вышли на пенсию, а новые девочки, пришедшие на их место после библиотечного техникума, а то и института, были козы козами, и Надежда Георгиевна почти подпольно создала команду и начала учить небезнадежных и дерзких новой компьютерной науке.

Некоторые все понимали сходу, в одно касание, а кто не мог, менял профессию. Кстати, часто на гораздо более выгодную в материальном отношении. Всем известно, что в библиотеках, хоть в вавилонской, хоть в александрийской, во все времена работала особая порода людей — верующих в книгу, как другие в Господа Бога.

Надежда Георгиевна, перешагнувшая уже пенсионный возраст, происходила из этой породы книгопоклонников и службу оставлять не думала. Во-первых, во-вторых и в-третьих...

Все эти многочисленные доводы представляла дочь Лида, которая зашивалась со своей поздно рожденной двойней и мечтала съехаться с матерью, чтобы та нянчила внуков... Но Надежда Георгиевна и мысли такой не допускала: детки, как известно, и сами собой растут, а книжное дело требует попечения, особенно в этот переломный для жизни библиотек период.

В голове она держала огромные планы и, начав дело, никогда не останавливалась, пока не доводила до победного конца. И была еще одна удивительная особенность в ее поведении: с начальниками и подчиненными она разговаривала с одной и той же интонацией — дружелюбного участия, в котором не было ни превосходства в отношении к низшим, ни особой почтительной искательности к вышестоящим... Ничего не пропускала, ничего не забывала, даже имени внучки уборщицы, которая убирала ее кабинет.

Без малого шестьдесят лет было Надежде Георгиевне, когда она забыла слово “серпантин”. Рассказывала приятельнице, по какой

прекрасной крутой тропинке она поднималась в детстве в дом бабушки в деревне под Гаграми и как потом эта тропинка заглохла, потому что на крутую гору проложили дорогу... тут она запнулась. Слово “серпантин” выскочило из головы, и на его месте отчетливо зияла пустота. Пробел... Белое пятно...

Она, не подав виду, изобразила пальцами зигзаг. И зигзагообразно свернула разговор в другом направлении, в кулинарном, и рассказала, какой вкусный пирог из практически подножной травы бабушка пекла в голодные годы... Тем временем Надежда Георгиевна продолжала искать на самом дне памяти исчезнувшее слово, чтобы накрыть им это белое пятно. И вдруг до нее дошло, что это не в первый раз с ней случается — вот такое выпадение слова. Да, недавно вспоминала номер телефона своей школьной подруги — и не смогла вспомнить. А ведь помнила всю жизнь наизусть все номера телефонов как “Отче наш”. Высыпались...

Смутилась, растерялась, занервничала. Может, просто переутомление?

Слово “серпантин” вернулось к ней на следующий день как ни в чем не бывало. Но “серпантин” этот оказался только первым звоночком. На следующий день она не смогла вспомнить название романа Макьюена, который ей так понравился...

Высыпались слова, фамилии, цифры. Да что там слова и цифры. Хуже того — она заметила, что, направляясь на кухню за стаканом воды, успевает забыть, зачем шла, возвращается в исходную точку, чтобы вспомнить, и идет по второму разу... Многочисленные ходки за чашкой, тарелкой, полотенцем. Паспорт потеряла... потом, правда, нашла. Паспорт был очень нужен в тот момент, она как раз оформляла рабочую визу в Германию, и дело было большой важности, не пустая прогулка для украшения жизни: она возвращала лейпцигскому музею вывезенные во время войны книги.

Все чаще она останавливалась в секундном столбняке, чтобы восстановить последовательность действий, которые прежде совершались автоматически. Никто, кроме нее, этого не за-

мечал. Ей даже не с кем было поделиться своей бедой, до поры сокрытой. Обострилось чувство тревоги, что забудет что-то важное и срочное на работе.

Начала писать себе записочки — не забыть. Этого, того, кому позвонить, с кем встретиться. И отдельные — что не забыть купить в магазине. А потом забывала, куда положила список...

Однажды, когда пришла дочка с внуками, забыла, как зовут одного из них. Когда они ушли, Надежда Георгиевна вспомнила, как зовут мальчика — Максим! И заплакала... Поняла, что больна отвратительной и постыдной болезнью.

Свое заболевание Надежда Георгиевна назвала “серпантиновой болезнью” и довольно удачно скрывала ее от окружающих. Через полгода она установила, что высыпаются даже имена сотрудников, и возникающие в результате этого паузы она научилась заполнять всякими безличностями типа “дорогая моя”, “голубчик”, “дружочек”...

Привыкшая уже получать все ответы на все вопросы в интернете, Надежда Георгиевна запросила: отчего ухудшается память и как с этим бороться. Информация хлынула огромным потоком, и исследование показывало, что имеет место когнитивная деструкция, которая и приводит к сбою оперативной памяти — предлагались прогулки, витамин В12, какие-то яблоки-репки для легких случаев, а для более серьезных — препараты от глицина до ноотропила и еще целая куча.

Она все закупила, написала на бумажке, что и в какой последовательности принимать. В трех экземплярах. Одна записка возле кровати, вторая на кухне, третья в прихожей, возле двери... Было такое впечатление, что немного помогает. Но — странное дело! — слова продолжали убегать, теряться, а когда она сосредотачивалась и пыталась уловить за хвост пропажу, на место покинувших ее русских слов стали всплывать эти самые слова, но на немецком или английском языке. Почему-то родной русский оказался самым летучим, и ве-

тер забвения все чаще сдувал именно русские слова. Вместо этого приходили слова на немецком, первом ее иностранном языке, которому учила мама в детстве. *Die Deutsche Sprache... Ich erinnere mich... kleines Mädchen...* — или какие-то ненужные английские — *keep silence, you, crazy guy... I can't help you, my honey... serpentine...**

Эта чертова забывчивость начиналась с завтрака, который она могла пропустить, считая, что он уже съеден, или позавтракать второй раз, позабывши о только что съеденном. Растворялось знание о том, что было только что, вчера, неделю назад, но чем дальше от сегодняшнего дня вглубь уходило воспоминание, тем крепче оно держалось.

Надежда Георгиевна взяла отпуск. У нее отпуска скопились за последние три года.

Пришел сын Миша. Она не могла вспомнить, когда видела его в последний раз.

* Немецкий язык... Я помню... Маленькая девочка... (нем.) Поттише, вы, безумный парень... Я не могу тебе помочь, милая... Серпантин... (англ.)

— Что ты так долго не забегал? — спросила его.

— Мам, да я позавчера у тебя был, ты что?

И тогда она призналась, что стало плохо с памятью, все забывает... Миша был человек очень занятой, перегруженный своими делами, но в этот момент он сразу же понял, что надо включаться. И включился.

Он был далек от медицины, как от неба. Все дела его были чрезвычайно земными, в ту пору он торговал какими-то подмосковными участками, строил коттеджи, продавал, покупал, перепродавал. И он немедленно занялся матерью с той же четкостью и последовательностью, которая была в нем заложена. Может, как раз ею и заложена...

Он отправил ее по знаменитым и дорогим врачам — сначала к терапевтам и неврологам, которые прописывали ей те самые таблетки, которые она нашарила в интернете, делали какие-то вливания, но ничего не помогало. Становилось только хуже. Тогда Миша зашел по второму кругу — гомеопаты, китайцы с прижи-

ганиями и иглоукальванием, настоящий тибетский травник, работающий с переводчиком. Мишина жена Светлана, склонная к простонародной мистике, притащила к Надежде Георгиевне знаменитую колдунью в мужской меховой шапке, которая в принесенной с собой грязной кастрюльке вскипятила воду, насыпала в нее волшебного сора, долго смотрела на бурлящие в воде ошметки корешков, потом воду остудила, смешала с каким-то маслом и обмазала Надежде Георгиевне уши, нос и рот, а остаток велела выпить... Дрянь какая-то.

Когда старуха ушла, Надежда Георгиевна пошла в ванную, смыла волшебное снадобье и сказала: “Всё, дети... *Genug... Finita la commedia**... хватит”.

Кажется, это было последнее в ее жизни решение.

Мир ее сжимался, белые пятна ускользнувших и забытых вещей расширились, уходили имена людей, названия книг, воспоминания не

* Достаточно (нем.). Игра окончена (итал.).

только вчерашнего дня, но и драгоценные зарубки детства: как укусила собака во дворе, как пролила чернила на белый школьный фартук, как сломала ногу, сдавая нормы БГТО в шестом классе. Забыла мать, отца, мужа... И растворилось все абстрактное, отвлеченное, что было добыто в жизни чтением, учением, общением с людьми. Все огромное библиотечное знание, которым она так дорожила. Мысли как будто спускались с высоты в низинку, где чайник на плите — забыла, опять забыла, весь выкипел и почернел... сын принес электрический... вот рычажок, вот огонек горит...

Пришла дочь Лида. Надежда Георгиевна приветливо улыбнулась, кивнула и спросила: “Как ваши дела, дорогая?..” Лида заплакала.

Сын поместил Надежду Георгиевну в особый, за большие деньги, дом престарелых в Подмоскowie. Ей там было хорошо, она успокоилась — выпадение слов ее уже больше не мучило, отчасти потому, что они покинули ее окончательно и больше не раздражали своим временным отсутствием, отчасти потому, что ей кололи спе-

циальные препараты, укрепляющие и успокаивающие, от которых она все больше спала. Иногда она вставала, садилась в красивом сиреновом халате у окна и смотрела. Там была снежная успокоительная белизна, и она сливалась с той, которая простиралась внутри нее и прежде так мучила. Теперь эта внутренняя пустота была совершенной, в то время как прежняя была пятнистая, хаотическая, в ней происходила борьба за окрашенные любовью, беспокойством, жадной деятельностью островки, была подвижной, как в детской игре, игре... игре... нет, название забыла... Теперешняя белизна была не тревожная, не опасная, как бывает в операционных, а совсем иного рода — успокоительная, тихая, вызывающая доверие. Равная плотному и мощному снежному покрову, открывающемуся за окном...

В то утро Надежда Георгиевна съела с помощью медсестры овсяной каши и творогу, выпила кофе с молоком, который всегда пила по

утрам, и долго сидела перед окном, предаваясь чувству белизны внутри и снаружи, без начала и без конца... И сидела в сосредоточенном оцепенении до того мгновения, пока эту неподвижную белизну вдруг не разорвал целый пучок синих молний, и одна из них ударила ей в голову. Этот удар взломал эту успокоительную белизну, она треснула с тонким звоном и оказалась всего лишь завесой, и завеса эта упала.

Надежда Георгиевна вскрикнула. Картина, открывшаяся ей, была гораздо больше того мира, в котором она жила. Ни пробелов, ни пустот — плотная и прекрасная ткань была космосом, в котором и земля, и все живое на ней, и все знания растений, микробов, муравьев, слонов и людей собраны были вместе и общались между собой, перетекая одно в другое. Это было знание полное, совершенное и постоянно прирастающее.

Всю жизнь она читала книги, заполняла каталожные карточки и удивлялась тому, как много на свете всякого разнообразного, несты-

кующегося между собой знания. А когда пришел компьютер, оказалось, что границы знаемого простираются гораздо дальше, чем казалось прежде. И она училась ходить по новым тропинкам...

Но здесь был мир не учения, а совершенного знания, и границ ему не было... Все, что она знала из книг — от школьного учебника по грамматике до хрестоматии по истории Древнего мира, от доказательства пифагоровой теоремы до строения флоремы, — было лишь малой частью открывшегося ей пространства.

...Этот умный хаос приглашал ее к себе, он в ней нуждался.

“Где очки?” — мелькнуло. Но тут же поняла, что зрение ее прекрасное и видит она все иным образом, чем прежде, как будто не в привычном трехмерном, а в каком-то ином измерении. Это была великая красота, про которую она догадывалась, сидя в своей библиотеке, в отделе новых поступлений, но не мыслила, не надеялась увидеть себя в этом месте, и она наполнилась счастьем до отказа, до потери собственных

Людмила Улицкая

границ, потому что почувствовала — принята сюда навсегда, и то, что она любила больше всего в жизни — учиться, узнавать новое и расширяться своим знанием до самых далеких точек, которые только могло вместить ее заболевшее, перегруженное, уставшее от работы сознание, — всё ей было дано сразу и навсегда. Границ не было у этого сияющего мира. Он двигался, развивался, расширялся и разворачивался, как серпантин...

Литературно-художественное издание

*Людмила
Улицкая*
**О ТЕЛЕ
ДУШИ**
Новые рассказы



Содержит нецензурную брань

Главный редактор ЕЛЕНА ШУБИНА

Редактор ДАНА СЕРГЕЕВА

Младший редактор АНАСТАСИЯ БУГАЙЧУК

Корректоры ИРИНА ВОЛОХОВА, ЛАРИСА ВОЛКОВА

Компьютерная верстка ЕЛЕНА ИЛЮШИНОЙ

Подписано в печать 17.02.2020. Формат 84x108/32.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,44.

Доп. тираж 5000 экз. Заказ № 1731



<http://facebook.com/shubinabooks>



<http://vk.com/shubinabooks>

Общероссийский классификатор продукции
ОК-034-2014 (КПЕС 2008); 58.11.1 — книги, брошюры печатные

Произведено в Российской Федерации
Изготовлено в 2020 г.

ООО «Издательство АСТ»
129085, г. Москва, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, комната 705,
пом. I, 7 этаж
Наш электронный адрес: www.ast.ru

«Баспа Аста» деген ООО
129085, Мәскеу к., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I жай,
7-қабат
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz

Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию в республике
Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор
және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы к., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 2 51 59 89,90,91,92
Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Өндірген мемлекет: Ресей

Сертификация қарастырылмаған

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, Россия, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



Про тело мы знаем гораздо больше, чем про душу. Никто не может нарисовать атлас души. Только пограничное пространство иногда удается уловить. Там, у этой границы, по мере приближения к ней, начинаются такие вибрации, раскрываются такие тонкие детали, о которых почти невозможно и говорить на нашем прекрасном, но ограниченном языке. Рискованное, очень опасное приближение. Это пространство притягивает — и чем дальше живешь, тем сильнее...

Людмила Улицкая



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ



9 785171 204365